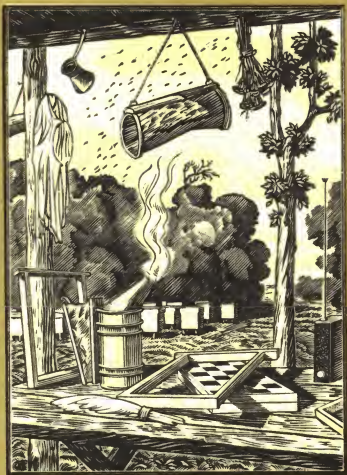


Владислав Шаповалов



МЕДВЯНЫЙ ЗВОН

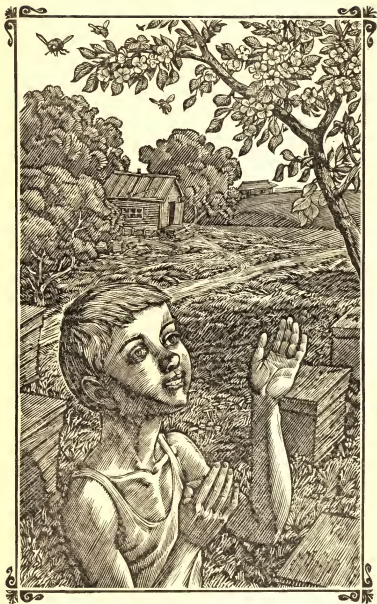
Издательство «Детская литература»











Владислав Шаповалов

МЕДВЯНЫЙ ЗВОН



ПОЭМА

Художник С. КОСЕНКОВ

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1988

ББК 84Р7

Ш24

Шаповалов В. М.

Ш24 Медвяный звон: Поэма/Худ. С. Косенков.— М.:
Дет. лит., 1988.— 127 с.: ил.

ISBN 5—08—001140—8

Колхозный пасечник Тихон Максимович Чуприн, бывший фронтовик, человек большой гражданской совести, учя мальчика Жею понимать и любить пчел, любить труд пчеловода, делает его своим духовным восприемником. Пасека становится для Жеи той школой, где он учится различать добро и зло, видеть красоту мира, слышать «медвяный звон».

Ярко, поэтично написаны страницы о жизни пчел, об их удивительных особенностях; в поэме немало интересных наблюдений, касающихся отношения человека к природе, философских и нравственных размышлений.

Ш 4803010102—322
М101(03)-88

Без объявл.

ББК84Р7

ISBN 5—08—001140—8

© «Медвяный звон».
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1982

© Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1988

К ЧИТАТЕЛЮ

Книга, которую вы держите в руках, о пчелах и о людях. Скорее все-таки о людях, хотя о пчелах вы узнаете столько, что, пожалуй, сможете управиться с пасекой.

Человечество пытается наладить связь с мирами, удаленными от Солнечной системы на сотни и тысячи световых лет. А ведь подтверждения гипотезе о существовании иных разумных миров пока нет. Есть одна надежда. Надежда, что Земля и земляне не одиноки во Вселенной.

С другой стороны, этот величайший романтик — Человечество — еще слишком мало знает о мирах, которые совсем близко. Скромнен перечень существ, живущих с человеком бок о бок: лошадь, корова, овца, коза, свинья, собака, кошка, верблюд, лама, осел, як, слон, олень... Добавим сюда домашних и декоративных птиц, декоративных рыб, из насекомых некоторых пауков, шелкопряда, пчелу и поставим точку.

Конечно, перечень этот неполный. Человек иной раз водит дружбу с медведем. Когда-то приручал лося. В Индии маленьких детей нянчат удавы. И все-таки, как бы мы ни ценили корову и лошадь, собаку и кошку, к пчелам у нас отношение особое.

Нас интересует пчела сама по себе, но главное — весь улей. Улей и муравейник издавна удивляют людей схожестью с городом, с нашим устройством нашей жизни. Муравьи пасут тлей, воюют, берут в рабство других муравьев. Пчела-разведчик умеет танцем рассказывать сестрицам, что она сыскала богатый нектаром луг, и те поймут, далеко это или близко и в какую сторону лететь.

Владислав Шаповалов назвал «Медвяный звон» поэмой.

По-моему, определение точное.

Читать поэму нужно неторопливо, не глотать страницы, не пропускать их в поисках сюжетной линии.

Книга уводит в мир природы, и радн красоты самой природы, и радн прекрасного, что есть в человеке.

Неторопливо, слово за словом, как капля за каплей по весне, «Медвяный звон» пробивается к тем пластам нашей души, которые связывают нас с природой, и оживляет их.

Владислав Шаповалов не пасечник. Он школьный учитель. Более тридцати лет жизни отдал он ребятам. Семнадцатилетним ушел на фронт. Был тяжело ранен, получил боевые награды и звание офицера. Вернувшись к мирной жизни, работал на заводе, закончил заочно университет. Путь в литературу его был долог. Он написал свои книги, будучи зрелым человеком. Писал о войне, о школе, но «Медвяный звон» и для него — особая книга. Я бы сравнил эту книгу с цветком-медоносом. Медоносы в глаза не бросаются, но зато они дают мед.

Главные герои этой книги: старый пасечник, мальчик и пчелы. На природе хорошо думается, широко. С пасеки видна жизнь всех людей, и они оба — философы, старик и мальчик. Они много работают и много думают, думают про себя, молча. И это столь говорящее молчание Владислав Шаповалов сумел и передать, и увлечь им.

И последнее.

Как бы хороша ни была книга, время стирает из памяти детали, точно найденные слова, красочные образы, но само произведение, если оно не пустячок, занимает свое место в том здании, которое мы всю жизнь строим в себе. Прекрасные книги как ячейки в сотах: чем больше ячеек, тем богаче улей.

Владислав Бахревский

Сотрудничество наше с пчелами
влияет на характеры людей.

Михаил Пришвин

1

Будь то весной или осенью, летом или зимой, он постоянно слышал тихий мерцающий звон. Тот звон давал ему силы и жизнь.

Выйдет завтра, до лёта пчел, на пасеку: туман сходит низами, звезды рассыпаны в траве росой. Зеленые думы дальнего леса... И во всем — запах солнца. Оно еще не прорезалось из-за горизонта, но уже объявило о себе пепельно-серым осветлением неба, тающим на корню туманом, streкающей ноги росой.

Легкий ветерок переберет мелкий лист березы, будто для учета. Буйное разнотравье шелохнется темной медвежьей шубой. Ручей возьмется недовольной морщинкой у излучины — и все снова замрет. Природа, как дитя, неохотна и блаженна в пробуждении.

Но вот в небе прибавится света. Отступят, четче выделяясь синью, дали; осядут, ярче берясь зеленью, близи. Сверкнет открытым глазом ручей. И объявится струна. Тихо, тонко-несмелой пробой: как оно получается? И тут — вторым голосом — отзовется ей другая. А там и третья. Прошмыгнет пчела в прорези летка неясной паучьей тенью, скроется в темном нутре улья. Потом снова положит на прилетную доску дужку большего захвата. Отделит, подняв, крылышки от серого тельца и снимется в небо, наращивая органичный гул.

Березы вплелись бледно-розовыми ниточками в зелень леса: фонарики одуванчика зажглись желтым светом от солнца. И — малиновый звон над головой. Медвяный звон!

Летом, а то порою осенью, да и весной, в теплынь,

звон действительно окружал его. Зимой же тот звон давала ему давняя глухота. Говорят, звонари глохнут с годами. И постоянно слышат гудение. Может быть, и с ним случилось такое? Только от другого звона. Не может же он, пчелиный звон, бесследно проходить через человеческую душу!

Впрочем, зимой тоже можно слышать настоящий звон. Зайдет в омшаник, приложит ухо к стенке домика послушать, как там, в глубине, шуршат крылышки. Словно дальний хвойный лес. Представит по звуку, по звону, что там, внутри, перейдет к другому. А если улей заложен, не дотянувшись к нему, то для этого существует резиновая трубочка с накопчиком, подобие той, что у врачей. Поднесет к уху трубочку, другой конец вставит в леток. Словно вовнутрь войдет — так близко звон. И все ясно увидится: пчелиный клуб завис в межрамье галактикой со звездами-пчелами, шуршит крылышками. В спячке шуршит. В спячке, а — в движении. Незаметно для глаза движения. Те пчелы, что глубже, в обогреве, на край подаются, а те, что плотной коркой взялись, укрывшись черепицей крылышек, те самые, что сдерживают наступ стужи, просовываются вовнутрь. Меняются местами. Как в карауле. На страже звона.

Опять же: срок придет — ослабнет какая, остынет, хотя и в тепле, навеки застынет, другие и посторо- нятся, пропуская ее. Тесно, а посторо- нятся ради такого...

Велико тяготение земли! И она, мертвая, выпадет на дно, в подмор, как сказал бы пасечник, а в действительности — в мягкий коврик из пчел, пересыпанный крупинками воска, прошитый нитями плесени. И на ее место заступают другие. Опять же — движение!

Вот он, клуб, рядом, а недоступен. Клуб — плазма, в руки не схватишь. И глазом не возьмешь!

Ему всегда хотелось посмотреть жизнь пчелиной семьи изнутри, не вскрывая улей. Сделаться пчелою и с человеческим умом пожить в загадочной темени улья. Некоторые охотники, а то и ученые делают стеклянную стенку — смотровой улей. Но это уже вмешательство во внутренние дела. А если б так: среди них — и незаметно.

Так и ходит он с трубочкой в руках, как доктор, выслушивая грудные клетки. Тревожить пчел особенно

не рекомендуется, и тут надо соблюдать строгое правило. Чем реже были эти посещения, а точнее, чем благополучнее проходила зимовка, тем дороже становился тихий, притаенный шелест глубокого летаргического звона.

Последнее время люди стали больше поворачиваться лицом к природе. Доверять ей. И пчеловоды — следом. Начали оставлять ульи на воле. Конечно, если все там по науке, то есть в типовом зимовнике, с проверкой влажности, регистрацией температуры, ревизией кормовых запасов, а точнее — под постоянным надзором, может, оно и лучше. Только здесь надо подумать. Эдак подумаешь-подумаешь — и оставишь несколько ульев для пробы на местах. Все поручишь ее величеству природе, и она неплохо справится за человека. Ведь не было же когда-то омшаников, и пчела хорошо дошла к нам сквозь десятки миллионов лет в самое что ни на есть разнопогодье. Улетают же и сейчас рои в лес и там, одичав, живут годами в дуплах. Надо только с осени оставить в улье достаточно корма и загородить их от ветров щитками, пока выпадет снег.

Зима спит сугробами, мороз тянет на окнах косяки. Снежная пыльца сыплется с неба. И в саду, меж яблонь, бугрятся холмики ряд за рядом.

Как представишь, что там, под толщей снега, за щитками, за дощатыми стенами, покоится в подвешенном состоянии между рам живой клуб, так и тянет разрыть — как там они?.. Да любой школьник скажет, что этого делать нельзя. Остается сидеть и ждать. Начинаются волнения ожиданий. Они начинаются задолго до весны, когда ты каждый день по утрам всматриваешься в розовый столбик градусной шкалы на окне, вычитываешь сводки погоды из газет, расспрашиваешь старожилов о приметах прошлого лета, как оно скажется на зиме, об особенностях зимы — каким будет лето. Нормальный человек дождь или снег, тепло или холод принимает естественно, как есть. Ты уже не можешь так. И смотришь на мир с перекосом, через свой интерес, и со стороны можешь показаться чудаковатым. Но кто-то где-то сказал, что мир держится на чудаках.

И все же никто так не ждет тепла, как пчела и вслед за нею — пасечник!

Хорошо, когда весна приходит вместе с календарем. Но чаще бывает иначе. Закапризится январь слезою — отступит великий санитар-мороз. Снег сойдет талою водою среди зимы. Поля откроются солнцу. И пчела забеспокоится раньше срока обманом. Но радоваться ей пока еще не время.

Есть у нашего пчеловода особый градусник с определителем влажности воздуха. И он смотрит на этот особый градусник, и следит за прогнозом, но случается так, что ты прозеваешь момент и застаешь пчел уже сверху, ползающих на щитках. Ведь пчела лучше человека знает время природы.

В этот раз Тихон Максимович Чуприн заранее очистил возле щитков снег, оббил наледь. Подгадал момент — откинул щиток.

Солнце ударило в летки. Приложился ухом — шелестит! И нет на земле большей радости, чем этот весенний шелест. Да это уже и не шелест пяти-месячной спячки, а рокот весенней воды, грозящей прорвать плотину долгого терпения. Слушаешь — не оторвешься! Но надо спешить дальше, потому что другие сообщества живых существ тоже ждут своей воли.

Он откинул щиток, и луч света проник в глубокую ночь улья. Тот сигнал прошел по рыхлому к этому времени клубу. Загудел набатным звоном колоколулей. Расшевелилась потревоженным муравейником распадающаяся галактика.

Вот одна, первая разведчица, пискнула крылышками. Для пробы. И тот писк вышел придавленным, стонущим. Показалась в прогретой щели летка и тут же скрылась.

Второй раз пробежала дальше. За ней появилась еще одна. И тут уже сзади стали напирать и вываливать на прилетную доску остальные, потому что плотину прорвало. Холодно еще, а они идут!

Взлетела одна, расправляя занемевшие крылышки, — и тот звук заразительно дошел во все уголки улья и передался каждому пчелиному сердцу. Клуб окончательно развалился, температура в домике стала нарастать.

После зимовки пчелы поднимаются тяжело. Влетят — и сядут на что придется. На ветку, на снег, а то и на теплую руку. Посидят как старички, отдохнут,

подышат, шатая брюшком, — попробуй столько прожить взаперти!

Отдышатся на солнцепеке, хоть и на крупяном снегу, и снова взлетят уже легче.

А иная сядет на снег — и не взлетит. Белый цвет после темной зимы, после слепоты, особенно тянет ее. Сядет на снег, сделает своим телом ямку-проталинку глубиною, насколько хватит тепла, и застынет навечно...

Но вот уже небо знакомо взялось набрызгом точек. Встает, дыбится на шатких пока крылышках звон — радость первого облета. Еще снег зернистый лежит кругом, а над землею звон. Медвяный звон!

2

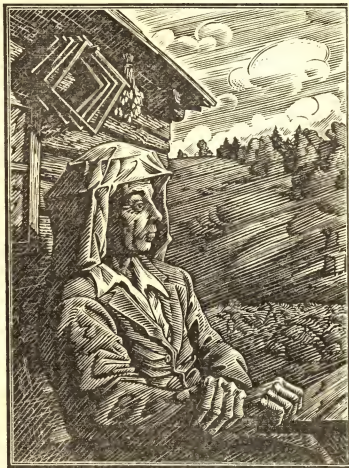
Он сидел на скамейке под навесом, руки держал кулачками на коленях, голову — чуть склоня набок и назад. Казалось, он спал. Но так только казалось. Лицо он подставил солнцу, и, как только первый луч лег теплом на кожу, веки дрогнули.

Тихон Чуприн встал, взял свой неизменный ящик с нехитрым пчеловодным инвентарем: стамеской, ножом, гусиным крылом для сметания пчел с рамок. И медленно, чуть припадая на одну ногу, пошел к ульям.

К пчелам он выбривался, вымывался, надевал чистую рубаху. Общение с природой — праздник, и в календаре Тихона Чуприна красных чисел было больше обычного.

Прошел немного, остановился. Посмотрел лёт пчел. А точнее: послушал звон. Пчелиный звон определял состояние его духа, и в зависимости от звона состояние это было то бодрым, то задумчивым, то радостным, то печальным.

Пчелы писали черточками небо, густо зашнуровывая его, и шли в направлении леса. Лет был прямой, не вихлястый, звук ровный, и настроение Тихона, чуть поврежденное с утра давним недугом, стало исправляться. Он переменял руку, захватив поудобнее ношу, глянул на пасеку. Ульи стояли против солнца на северной стороне склона большого уемистого лога. Покрашенные в разный цвет, они весело



проглядывали шахматным порядком в зелени яблонь.

Есть что-то необыкновенное в тех кусочках земли, что отданы пчелам. И каждый из нас, увидев ульи, испытывает особое чувство. Дело не в сладости меда, конечно. Не в полезности его. А в духовности его. В духовности всего того, что совершается в природе в связи с пчелою. Попробуйте съездить летом на пасеку. Попробуйте заглянуть в удивительную жизнь пчелиной семьи, вникнуть в нее.

Для Тихона Чуприна ульи — это книги, рамки —



страницы, соты — строчки, ячейки — буквы. А пасека — целая библиотека. И ни одна страница книги не имела для него большего содержания, чем восковая. Потому что Тихон Чуприн в сущности своей был прежде всего философом, а потом уже пчеловодом. Находясь на природе, не быть философом нельзя.

Философом Тихон Чуприн слыл еще в школе. Пошел на войну — и там, в танковом экипаже, называли его не водителем, не солдатом, а все тем же философом. А как после увечья перешел на пасеку,

и вовсе закрепил за собой это звание. На этажерке вместе с книгами по пчеловодству у него стояли три томика Монтескье, старые, довоенные, издания Фихте и Гегеля. И по вечерам, освобождаясь от работы, Чуприн для упражнения ума прочитывал несколько страниц.

Но не книги сделали его философом. Мудрецом сделала его жизнь.

Он подошел к улью, поставил на траву ящик с высокой и удобной для захвата ручкой. Посмотрел на пасеку сверху. Крыши домиков уходили вниз размашистыми ступеньками, из-под ступенек пулями выстреливали пчелы. Они тянули длинные прямые линии и, прерывая их, исчезали в глубине неба еле заметными точками. Такие же точки брались неведь откуда там же, в небе, превращались в обратные пунктиры и тянулись прогнутыми нитями назад, под ступеньки. Обратные нити были темнее и зримее. Это тоже поднимало его настроение.

Тихон открыл ящик, взял стамеску — не плотницкую, разумеется, а пчеловодную, с загнутым одним и расширенным другим концом. Затем снял с улья крышку. Снял крышку — в лицо пахнуло насиженным теплом жилья. Пахло воском, нектаром, пчелами. Пчелами пахло особо: душистой смесью цветов с чуть приметной резкостью яда.

На потолочинах лежал набивной матрасик. Осенью и весной матрасик помогал обогреву, летом гасил жару раскаленного железа крыши. Была как раз не та и не другая пора. Тихон свернул матрасик и отложил его в сторону. Поддел стамеской потолочину. Потолочина, приклеенная прополисом, оторвалась с треском, на треск пчелы отозвались потревоженным рыком крылышек. Отозвались — и успокоились. А ему, как всегда, стало жаль затраченной пчелами работы на герметичность жилья. И каждый раз, вскрывая улей, Чуприн испытывал такое чувство, словно он обнажил открытую рану.

Улочки межрамья, забитые пчелою, шуршали хвойным лесом. Сильно пахло тополиными почками. Пчела держалась плотнее у гнезда, отдельные особи ползали сверху по колодочкам рам. Поддел рамку той же стамеской, она, схваченная прополисом, поддавалась с треском. Сильнее запахло тополиными почками.

Прополисом пахло, как от свежего лака, но то был лак особого назначения и состава. Чуприн любил волнуемый запах пчелиного клея.

Захватил крепко с двух сторон рамку за плечики, осторожно, чтобы нигде не придавить пчелы, вынул из улья. Вынул восковую страницу, повернул ее к солнцу. И вмиг она вся вспыхнула в глубине ячеек янтареом свежего меда, светофорным разноцветьем перги¹, светлым жемчугом расплода недельного срока.

Зернышки меда в глубине ячеек, шестиугольнички перги, белые червячки расплода просматривались сквозь густое шевеление пчел — шла неторопливая, размеренная, скрытая от глаз работа. В мае обычно большей частью идет перга, пчелам надо усиленно наращивать семьи. Перга обильная, яркая.

Есть у пчелы на задних лапках корзиночки из волосков. В те корзиночки она складывает цветочную пыльцу. Смочит ее медом и специальным секретом из особых желез, сложит в ячейки. Законсервирует. И тогда это уже не пыльца, не обножка², а перга. Корм для малышей. Пчелиный хлеб, замешенный на меде. Очень полезный и человеку. Иная труженица так набьет свои волосяные корзинки на лапках, что пыльца возьмет и отвалится. Так жаль, что она отвалится, уже собранная из цветов, уплотненная в комочек, принесенная в улей, что рука порывается помочь. Но ту крошку обножки, что отвалилась, пчелы не берут. Чуприн прикасается к ней пальцем, пробует на вкус. И дело здесь не в том, что в цветочной пыльце есть почти все известные витамины, аминокислоты, ферменты, минеральные соли и фитонциды, необходимые человеку, а в том, что во рту растекается вкус весны. Ничто так не дает знать о пробуждении природы, как эти первые ранние вестники — капельки цветочной пыльцы. В них-то, может, и таится один из секретов, поставивших пчеловода, после чабанов, что живут в горах, на второе место в шкале профессионального долголетия.

Смотреть пчел было и занятно и радостно. Чуприн не спешил переворачивать страницу. Он наблюдал природу не как все люди, а через ячейки пчелиных

¹ П е р г а — обработанная пчелами пыльца.

² О б н о ж к а — пыльца, приносимая пчелой на ножках.

сотов. Вот пустил гирлянды сережек орешник — пчела утрамбовывает головой в ячейку коричневую пыльцу. Вот расцвел пролесок — зажглись в нескольких местах синие шестиугольнички, напоминая васильки. А вот объявилась и медуница аптечная, или легочница, как еще называют ее в народе, так как она врачует легкие.

Пасека — это центр, куда стекаются вести со всех окоелиц.

Стояла пора черемухи, и пчелы, его датчики, принесли ее следы сюда, на пасеку, где сходятся все их меридианы. Он еще не увидел бесцветный набрызг медвяной росы, он только услышал тмяно-медовый запах и улыбнулся.

Черемухе улыбнулся.

Так он определил, что распустились только вершинные цветочки черемухи и с солнечной стороны и что пчелы, если постоит погода, хорошо подучатся на ней. Черемуха, с особым, стойким запахом, не ахти какой медонос и не может справиться с таким своим соперником, как липа или клен остролистный. Но в теплую влажную пору она хорошо выделяет нектар, и Тихон прикинул, какая может быть поддержка, пока подоспеет смена.

А погода должна была постоять. Его «барометр» — немецкий осколок в бедре — точно указывал на вёдро.

Пока он так думал и держал рамку, пчелы густо, в два наката, одели теплым живым одеялом расплод. Но он все же рассмотрел и коричневый, готовый к выходу, печатный расплод, и белые червячки подраста, и стручки только поставленных на дно ячеек яичек. Яички шли по самому низу рамки, занимая все свободные места. Тихон Чуприн прочел, что матка сеет в полную меру и что надо подставлять рамы с сушью для расширения гнезд. Какая-то подъемная сила вечности бытия захватывала его, когда он видел густой посев молодой поросли, и не было для него большей радости, чем накапливать мощь пчелиных семей.

Утром у пчел было блаженное, как у художника, состояние. Самое продуктивное время. И Тихон Чуприн старался не особенно мешать им. Окинув всю рамку одним взглядом, поставил ее на место, в тепло.

Всем этим он занимался, как занимался всегда — и прошлым летом, и позапрошлым. И десять, и двадцать лет назад. И тридцать. И все это было бы обыкновенно и обыденно, если бы он не знал, что на все это смотрят глаза мальчика.

Мальчик стоял за деревьями, вытянутое удивлением лицо попятнали тени от листьев, частое дыхание шатало на лице зайчики. Тихон Чуприн знал, что мальчик смотрит из-за кустов, и мальчик знал, что тому это известно.

Пасечник глянул косо, точно невзначай.

«Ты пришел?»

«Да».

«Хорошо».

Тихон Чуприн улыбнулся. Та улыбка долго стояла в глазах мальчика, загороженных зеленой шторкой листвы.

«Ну, смотри. Шибче смотри!»

Мальчик любил облака и лошадей. Еще влекли его пчелы. Он даже сам не знал, почему они влекли его. В детстве, будучи совсем малым, он собирал их в консервные банки, составляя из таких ульев свою пасеку.

3

Потом они сидели на скамейке. Дядюшка Тихон — склоня голову, положив кулаки на колени; Женя — поджав ноги, обхватив их руками ниже колен.

Они любили так сидеть, молча, думая каждый свое.

Природа лаконична. А они находились с нею лицом к лицу. Что говорить, если медвяный звон говорит.

Пчелы охотно шли на взятки, светило ярко солнце, пели птицы. Одурающе пахло цветами и медом. Лошадь Бровка, закрепленная за пасекой, мирно паслась у пруда, заросшего столетними ивами; сторожевой пес Байкал подсунулся живым ковриком под босые ноги.

Тихон думал о том, как прекрасна земля и жизнь на ней и как она, жизнь, скоротечна для человека. Думал о том, как человек мало успевает за жизнь. Мы всегда в старости сожалеем о том, что не успели

в молодости, а в молодости, обманываясь запасом будущего, надеемся на потом, на старость, которая возьмет умом, а рукою не поднимет. В том ошибка молодости и горечь старости. С возрастом Тихон Чуприн как-то глубже начинал понимать все это, и, чем ближе подходила та черта, о которой он помнил, тем дороже становилась ему жизнь.

Мальчика вовсе не занимали такие мысли. У него был необъемный запас будущего, и смерть казалась ему чем-то нереальным.

Он сидел на скамейке, поджав ноги, положив щеку на колено, мысли его были похожи на облака: вечно неопределенные и вечно что-то изображающие. Мальчик любил облака и рисовал их, и, если б у него был фотоаппарат, он бы снимал их на цветную пленку.

— Послушай,— сказал дядюшка Тихон, когда они вдоволь намолчались.— Ты, должно быть, проголодался. Возьми молоко.

Молоко стояло в омшанике, где хранилась прохлада.

Мальчик сходил за крынкой. Байкал проводил его.

Ели они на траве, ничего не подстилая. Пчелы, слетая с цветов, садились на хлеб. Дядюшка Тихон жевал неохотно и на пищу не смотрел; мальчик подсовывал ему незаметно лучшие кусочки. Такое внимание трогало сердце старого пасечника, глаза его теплели чуть приметной лаской.

Мальчик знал, что во рту у дядюшки Тихона не было и крохи с самого утра. Чуприн не любил есть. Раньше, бывало, на тощий желудок он чувствовал себя подъемней, но теперь все больше и больше слабел. Мальчик видел это.

— А задачу решил? — спросил пасечник, зная, о чем думает мальчик и что думают они об одном и том же.

Вечерами, после работы, когда пчела садилась в улей и заходило солнце, они занимались шахматами. Шахматная доска лежала рядом на столе, под навесом. И о шахматной задаче Тихон Чуприн заговорил просто для того, чтобы отвлечь мальчика.

— Не-а,— мыкнул Женя.

Шахматами они занимались не так, как все, чтоб обыграть друг друга, а с одной, выигрывающей или



проигрывающей стороны. Расставят фигуры на доске, согласно заданию, сядут рядом. Думают молча. Каждый свое думает, а — вместе. О шахматах, конечно, думают. И — бог весть о чем вперемешку. У них обоих была одна и та же слабость: поблуждать мыслями. И чем больше они давали себе воли, тем причудливее становились их мысли.

— Надо порешать, — сказал дядюшка Тихон и стряхнул крошки в ладонь.

Он поднялся и, чуть прихрамывая, пошел к фанер-

ке, укрепленной между ветвей. Посыпал крошки, Байкал проводил его добрыми глазами.

Появилась овсянка. Села на фанерку с краю, поводила вверх-вниз бурым хвостиком. Так она держала равновесие. И конечно, благодарила человека. Женья засмеялся от удовольствия.

А Тихон Чуприн подумал, сколь мало надо для радости — крохи. И как жаль, что не все люди понимают это.

Сколько он, Тихон Чуприн, взял за жизнь так вот, крохами, радости. Сложить вместе — земной шар выйдет. Да он, земной шар, и состоит из тех крох. Жаль, что не всякий человек умеет брать их.

Посмотрел на небо: ласточка идет в вышине, аист машет широкими флагами крыльев. И медвяный звон над землею. Тот, что обнадеживал предков. Что утвердит потомков!

— Как там папашка? — спросил, переводя взгляд на мальчика.

Отец Женьи с весны бывал на севе, а в страду переходил на комбайн.

Теперь он занимался ремонтом, мальчик бегал в мастерские. Ключ подаст, молоток вовремя поднесет. А то и мотор заведет через пускач для пробы. Папашка доверял ему.

— Ладит?

— Ладит.

Бывает, какой комбайнер наспех подготовит свою машину, ходит по колхозу, семечками плюет. Страда начнется — выедет. Смотришь — уже назад возвращается, к мастерским. Там хлеба горят, а он копается: одно сломалось, другое отвалилось. То подклепать, то подварить надо. Отец Женьи копался в машине полета. И казалось, все уже готово, а он заведет, испробует еще раз. Зато в поле выезжал единожды. Туда — и обратно.

— А мать?

Мать работала на ферме с перерывами на полдник и обед, дядюшка Тихон знал об этом. Знал он и об отце. Знал — и каждый раз спрашивал. Одно и то же повторение было ему новостью.

— Охо-хо, — вздохнул Тихон.

Он всегда так: думает что-то, разговаривает — и вдруг вздохнет тяжело.

Мальчик внимательно посмотрел на дядюшку Тихона: щеки, посыпанные жилками, точно мелко насеченная завитушками проволока; глаза, утонувшие в морщинах.

«Плох я», — сказали ему те глаза.

Мальчик перехватил мысль, ответил:

«Ничего. Ты поднимешься. Весною ты всегда поднимался».

«Это верно», — согласились те же глаза, чуть тронутые улыбкой доброты.

В старости лучше смотреть на молодость, по-иному мир тогда воспринимается. По-иному живет. Тихон Чуприн смотрел на мальчика и забывал себя.

Старости в действительности еще не было, она просто где-то еще на подступах незаметно подкрадывалась, и Тихон Чуприн отгонял удручающие мысли.

К ним привязалась пчела. Женя стукнул ладошкой, отмахнувшись, — пчела отлетела горошиной на землю. Запуталась в траве. Мальчик никогда бы не сделал этого. Наоборот, он дал бы ей, любопытной, пожужжать под глазом. Но рука сама махнула и сбила пчелу. Тихон Чуприн недовольно посмотрел на мальчика.

Бывает же, среди множества добрых пчелиных душ отыщется такая, что ей все не мило, все не по духу. Пчела выпуталась из травы — увернулась дугой. Женя замахал руками, а ей только того и надо, чтобы кто-нибудь не выдержал, сдрейфил. Увернулась дугой — секанула под самый глаз. И знает же, куда метить. В самом деле, откуда она знает, что под глаз надо целить, где больнее всего? Отвернешься, согнувшись, подставляя спину, — кусай. Так нет, брат, облетит кругом, поднырнет снизу — и в самый глаз влучит! Женя схватился руками за лицо, а пчела, потеряв жало, норовит опять ужалить. Бьется в скулу. Опять — почему? Действительно интересно: знает ли она, что ей нечем колоть? Что жало у нее оторвалось? Или действует на твои нервы? Знает, что теперь, после ошеломляющего удара, ты как вроде в панике. И можешь струсить даже от холостого удара. В общем, действует на твою психику.

Женя сорвал кепку, стал отбиваться кепкой. Не

выдержал поединка, побежал, махая руками. Как мельница. Побежал меж ульями, втягивая за собой сквозняк из пчел. Байкал два раза недовольно взбrehнул ему вслед. А Тихон Чуприн только руку подвел. Да так и остался с поднятой рукой.

4

Несколько дней Женя нигде не показывался — куда с таким глазом. Глаз распух, веки водянисто розовели и сомкнулись. Одна сторона лица отвисла ломтем и дрожала, как желе, при каждом шаге.

Но опухоль, приятно почесываясь, быстро сходила, лицо выравнивалось, и вскоре он появился на улице.

Солнце поднялось над лесом уже довольно высоко, и вдали, у горизонта, ясно виднелись, пошатываясь горячим воздухом, сине-зубчатые очертания сосен. Возле реки, на яркой зелени лугового ковра, желтел теленок; у самого двора высился воз хвороста, обсыпанный воробьями. Женя махнул рукой, сгоняя воробьев, и почувствовал, как приятно растянулась кожа на ужаленном месте.

Остро пахло цветами и солнцем, шуршали сухими ломкими крылышками бабочки. Летели на высоте серпик ласточек. Медленно плыли облака.

Вернулся во двор, заложил сена Марочке, влил мешанки Борису — тот заработал пяточком. Насыпал курам. Управившись по хозяйству, взял лукошко, выкатил велосипед на улицу, встал на педаль.

Оттолкнулся, перенес на ходу ногу через багажник.

Мелькнула за осинами голубым личиком воды Красавка, посыпанная белыми крапинками гусей. Поднялась стрелочкой поперек реки и отошла назад плотина. С той стороны реки надвигалась тяжелая туча, и светло-голубая вода густо засинела среди свежей зелени. Четче вырезались светло-серые стволы ветел. В давние времена, говорят, в тех ветлах, в дуплах, водились пчелы. Глянул на дупла мельком, следя за дорогой, — отчего-то стало приятно и радостно.

Свернул в боковую улочку, сокращая путь, проехал мимо погоста с покосившимися крестами. Кладбище

находилось на краю деревни, где березами и соснами поросли песчаные бугры. Мальчик не любил этого места, и обходил его, и отгонял о нем мысли. И все же, проезжая мимо, он подумал о кладбище, и у него защемило сердце. Непонятно защемило. Вырвался на простор, свободней заработал ногами.

Дорога летит под колесо. Рубаха бьется у локотков крыльями. И оттого, что она бьется крыльями, кажется, будто летишь. В такие минуты Женю охватывал какой-то необъяснимый восторг. И он нажимал на педали и сек упругий воздух открытым лицом.

В лесу первыми тебя встречают птицы. Зимой, чем ближе подходишь к лесу, тем больше замечаешь на снегу следов. А летом — звуки. Поражают звуки. Женя остановился, замороженный, послушал тишину, заполненную звуками. Да тишины, собственно, и не бывает самой по себе. Она всегда оттеняется звуками. И без звука ее не узнаешь.

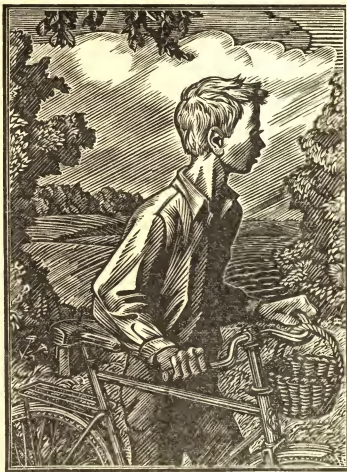
Лес шумит, как улей, если приложишься к нему ухом; деревья, уронив ветви, думают зеленую думу. Дятел — лесной лекарь в красном берете — стучит молоточком, выстукивая больные места; дальняя кукушка волшебным отсчитывает время. И сучок, похожий на сидящую птицу, притаился. Мальчик присмотрелся и улыбнулся сучку.

Стелются под ноги приземистые фонарики белого клевера; дробно хлещут о спицы, звеня натянутыми струнами, желтые ягоды ромашек, отороченные снежными лепестками. Мерцают синим подкрыльем в воздухе кузнечики. Пахнет цветами и медом. И лесом. И землею. И небом. И облаками.

Дорогу пересекла дорога. Муравьиная. Поперек человеческой. Снуют грузовиками — и что можно перетаскивать бесконечно туда и обратно! Поднял велосипед за рога, перенес зеленые от травы колеса. Чтоб аварии не случилось. Катастрофы. Светофор тут забыли поставить. Сову какую-нибудь глазастую. Чтобы моргала, закрывая одно очко, открывая другое.

Вышел на поляну, подфутболил поганку. И тут неожиданно увидел человека. Человек был в синей рубашке, через плечо у него висела на ремне, как винтовка, новая рюкзачка.

Это оказался Сергей Гаврилович Кошелев, односельчанин. По-уличному — Пузырик. На деревне



Пузырик был известен тем, что водил пчел. Странно, что он собирал ягоды в роевню, будто лукошка на то не сыщется.

Посмотрели они друг на друга непонятно, разошлись молча. Разошлись, а роевня из головы не выходит. Новая роевня. Женя еще не видел такой.

Спустился в ложок, начал собирать ягоды. Ягод было еще мало, бурели они лишь на солнечной стороне. Интерес к ним сразу как-то пропал.

Вышел на опушку, привязал к багажнику лукошко.



Пенек, присыпанный хвоей, бугорком прикинулся; шишки такие, что трудно устоять от соблазна нагнуть-ся и поднять. Красные стрекозы играют вертолетами в солнце. Несколько жаринок-ягод в лукошке. Пламенеющих жаринок.

Стоят, набросив салатные косынки из мелких старинных, позеленевших монет березки, уронив волосы тонких ветвей, призадумались. Но не было почему-то в лесу той радости, какой она должна быть. Не было радости и в ягодах.

Выехал из лесу, нахохлился на велосипеде. Только взял разгон — цепь захватила штанину. Вот невезучий день! И как это он забыл приколоть штанину булавкой.

Свалился на бок, чуть не рассыпав жаринки в хлеб. Согнулся над цепью, стал проворачивать ее, чтобы зубчатое колесо, прожевав, отпустило штанину. Слышит, машина идет. Ниже гнется, чтобы живее управиться. А сойти с дороги не может — велосипед колодой, точно капкан у медведя на ноге.

Гул нарастал с угрожающей силой. Мотор выль на пределе. Женя оглянулся назад — никого. Никакой машины нет. Посмотрел вперед — и впереди дорога до самой деревни свободная. Ничего не поймет. А гул уже совсем близко! Вот-вот накроет. Женя аж пригнулся от звона. И только тут, оставив цепку, бросив велосипед, выпрямился во весь рост и увидел рой.

Рой шел на высоте двух-трех метров со стороны поля, плотное тело ядра живо нарастало в объеме.

Вначале Жене показалось, будто рой идет на него, и мальчик успел представить, что сейчас произойдет. Как врежется лицом в летящую галактику из множества звезд.

Женя схватился руками за голову и закрыл глаза. Но галактика прошла мимо. По прямой. Через дорогу к лесу. Мир, видно, как Вселенная, не так уж и тесен.

Тело ядра, где находилась матка, центр притяжения, вытянулось в обтекаемую форму, и теперь, сбоку, галактика походила больше на комету с отстающим хвостом. Хвост растянулся далеко, отдельные звезды, более слабые массой, не выдержав стремительной скорости, утрачивали центр притяжения и терялись в колосьях пшеницы.

Много пишут о шаровой молнии. Действительно чудо! Но что может сравниться с другим чудом, живым! Вот где действительно чудо! И как бы нас ни поражала безбрежная непостижимость Вселенной, наша земная жизнь все равно останется высшей сложностью.

Рой промчался, как близко идущий скорый поезд, а Женя стоял ошарашенный, провожая его глазами, веря и не веря тому, что только что увидел.

Нет на свете ничего удивительней, чем летящий на просторе рой! Редкий человек на земле, да и не

каждый пчеловод, одарен счастьем видеть летящий на свободе пчелиный рой.

Радость вертела педали, бился упруго в руках, норовя вырваться, рогатый руль. Ломалось и хрустело в спицах колес высокое солнце.

Рогатый руль сам повел в лог, где уступами вниз шли ульи. Лог гудел пчелою. Вдали, меж ульев, плавно, точно водолаз на глубине, копошилась фигура в халате и сетке. Сетка напоминала скафандр, халат — водолазный костюм с подвязанными у запястья рукавами.

Спустился тропинкой, продавленной в траве, прошел мимо Бровки, которая паслась около пруда, затянутого наполовину ряской. Хотел пройти незаметно, да Бровка, подняв морду, внимательно повела головой, переступила спутанными ногами. Байкал выскочил из тени, залаял на радостях, повизгивая. Соскучился.

Когда дядюшка Тихон освободился, они сошли вниз, под яблоню, сели на скамейку. Дядюшка Тихон снял сетку — мокрая прядь волос черкнула ему лоб. Сложил руки на столе, глянул на мальчика. Руки его пахли работой, Жене был знаком этот запах.

— Рой, говоришь?

Возле пчеловодного дома высился старый пенёк с выгнившей сердцевинкой. Когда-то он был пустой и необитаемой чашей. Но время нанесло туда лишёв и пыли. Все перемешалось, перепрело и стало землей. Дядюшка Тихон как-то подошел по весне к чаше, бросил в нее щепоть семян. Теперь это была ваза с живыми цветами.

Пчелы шатали цветы, писали черточками небо. Возились под кустом птицы. Лег в тени, успокоясь, Байкал. Угнулась к земле, к траве, Бровка.

— Старая матка далеко не пойдет. Молодой, знает, — заметил дядюшка Тихон.

Шмель паучье-черный залез в чашу, ломая цветы. Силится, расталкивая лепестки, в самое сердце достать. И когда Женя сказал о новой роевне, дядюшка Тихон не удивился, а только сказал свое вечное:

— Диалектика.

Диалектика, понимал Женя, — задача. Задачу надо решать.

Бровка, затянута дымкой из пчел, подняла го-

лову: гадает, о чем могут толковать старый с малым. Байкал насторожил одно ухо. Морщинки взялись болью у глаз пасечника. Женя посмотрел на дядюшку Тихона, опустил голову.

«Слаб я»,— сказали опять ему те морщинки и глаза.

Рои уходили у него и раньше, но раньше дядюшка Тихон так не говорил.

— Дядюшка Тихон, я тебе ягод принес,— сказал Женя, глядя в сторону.

На столе лежали газеты, стоял переносной транзистор. Пламенело в лукошке несколько красных угольков ягод.

— Ягод?..— не понял Тихон.

И тут посмотрел на мальчика иначе, и иначе вздохнул, и улыбнулся глазами.

Взяли лукошко, а там вместо ягод кисель получился. В дороге жаринки помялись и потекли. Да разве в них, в ягодах, дело? Посмотрели друг на друга и опять улыбнулись.

«Но ты пришел, и я теперь крепче!» — поднял голову Чуприн.

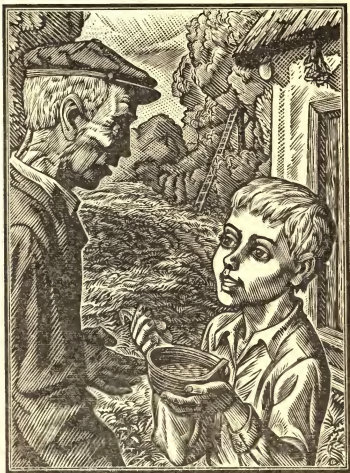
5

Когда начались каникулы, Женя перешел жить на пасеку. Только иногда, по вечерам, Тихон Чуприн отсылал мальчика домой, к родителям, чтобы тот, как он выражался, «случаем не отбился от родительских рук». Да иногда Женя сам бегал «в обедах» за молоком и помогал матери.

Спал Женя на деревянном топчане, таком же, как у дядюшки Тихона, вместо подушки сворачивал фуфайку.

Ночью, в бессоннице, Тихон подходил к мальчику и укрывал его своей старой шинелью. К утру, угревшись, Женя спал особенно сладко. Тихон Чуприн радовался, глядя на него. Зайдет утром в дом, останется и смотрит, как луч солнца впутался в русский вихор. И хочется разбудить мальчишку, да не смеет. Ждет. Весь настороже, прислушивается, не скрипнет ли в доме половица.

Женя проснулся, когда луч солнца прыгнул с подушки на пол и зажег там ясный зайчик. Встал,



шатаясь, еще весь во сне, потопал босыми ногами теплый зайчик. Вышел на порог.

В низинах еще лежали туманы, и крыши прибрежных домов, и верхушки деревьев, и горбины прошлогодних скирд по ту сторону Красавки плавали в молоке, как в половодье. Но на возвышенностях уже обозначились дали, и сияло солнце, и золотились бумажные стволы берез, и бронзовели корой сосны. Было свежо и подъемно: пчелы открыли лет.

Светились на солнце, точно покрытые лаком, ство-

лы молодых яблонь; поблескивали медовым цветом на вишнях янтарные сережки клея. Рябили в глазах цветные кубики ульев. И в глубине панорамы, за легкой сеточкой из пчел, копошился водолазный скафандр Тихона Чуприна.

Тихон Чуприн смотрел пчел. Опустил тяжелую, всю в шелухе живых крылышек рамку в улей, взял другую, развернул к солнцу и в проеме двери увидел штанишки и босые ноги мальчика. Ситцевая рубашка, взъерошенные волосы и полные светом глаза. Замер на месте с восковой страницей в руках.

Нет ничего прекраснее, чем ребенок со сна. Хотел что-то сказать, но не нашелся... Перехватил рамку, чтоб не уронить, поставил на место — страшная боль отозвалась у сердца.

Подошел Байкал, мотая хвостом, тыча в ладонь прохладную монетку носа. Женя наклонился, и пчелы лизнули ему лицо.

— Дядюшка Тихон, — мальчик поднял голову и удивленно посмотрел под козырек сетки в притененные глаза. — Ты пахнешь пчелами!

— А ты — детством, — улыбнулся пасечник.

Он сходил в чулан, вынес новую сетку. Пчеловодная сетка была сшита из пестрого ситца, что идет женщинам на сарафаны. Хотел вручить ее мальчику, да задержался... Взял ковшик, зачерпнул из бочки воды. Вода была холодная, плотная, как цветное стекло. И пахла зеленью и дубовой клепкой. Плеснул из ковшика, и Женя еле успел подхватить пелену воды. И когда вытерся льняным полотенцем и зарозовел от свежести, окончательно пробудился.

— Вот тебе первая заповедь, — сказал Чуприн строго, передавая сетку, — за звон берись чистыми руками.

Мальчик смотрел на дядюшку Тихона снизу вверх большими, широко открытыми глазами. И шурился. Как от солнца. Много света шло ему оттуда, сверху.

6

Они сходили в домик, взяли рамконошу и дымарь.

На пасечнике свежая рубаха, руки натерты мелиссой¹. Чтобы пчела не липла. Лимонный запах мелиссы

¹ Мелисса — трава с приятным лимонным запахом.

успокаивает ее, гипнотизирует. Самая злая становится доброй.

Дядюшка Тихон посмотрел на Женю, заметил строго:

— Подбери забрало, не на врага идешь.

Работал он обычно с поднятым забралом, и сетка ему служила притенением от солнца. Вместо шляпы. Сетку заменяла мелисса. Поставил рамконошу, спустился в ровик. Сорвал несколько листочков мелиссы. Протянул Жене:

— Хороший пчеловод терпением работает.

Женя взял листик мелиссы, потер за ушами. Еще потер, глядя на дядюшку Тихона, пальцы. Надел сетку, завел резинку за подбородок. Теперь сетка напоминала солдатскую панаму с пояском, руки отдавали приятно-лимонным запахом мелиссы. Чуприн открыл дымарь, заложил трухлявого дерева.

— Когда придумали дымарь, пчеловодство народилось, — заметил между прочим, поджигая бумагу.

Сам же он дымарем не пользовался, разве что в безвзяточное время. И теперь разжег его для мальчика. На всякий случай. Подошел к улью, пустил в очко летка пучок дыму. Пчелы отозвались на дым незлобным «рыком» крылышек.

— А почему она смиреет от дыма? — спросил Женя.

Дядюшка Тихон пожал плечами.

— Одни говорят, будто это давний инстинкт, от лесных пожаров. Пчела-то из лесу вышла...

Подумал, потом добавил:

— Другие возражают. А в сущности, пчела еще только наполовину известна. Ну может, чуток побольше. Тут каждый раз нужно самому мыслить.

На пасеке почему-то и ты сразу смиреешь. И умолкаешь. И успокаиваешься. Пчела учит сдержанности. Здесь слова оказываются лишними, грубыми, и без них все становится понятным. Разговаривать можно взглядами. Старый и малый пчеловодное правило тишины соблюдали в строгости и на редкость понимали друг друга. Показал дядюшка Тихон глазами на дымарь. Женя отнес его подальше, в кусты, чтоб не мешал дыханию. А сам тем временем снял крышку улья, поддел потолочину — и мальчик подхватил потолочину, потому что она оказалась лишней у того в руках.

В лучах солнца падают на прилетную доску тяжелые, с нектаром, пчелы. Тихий звон стоит над лугом.

Дядюшка Тихон поддел стамеской крайнюю рамку, вынул ее на свет из теплого, опушенного пчелою нутра.

Рамка на солнце — из золота. Медвяно-тяжело оттягивает руки. Светло и весело просматриваются в сотах за крылышками красные, желтые, зеленые светфорчики перги. Ту пергу, пыльцу цветов, пчелы носят на лапках, но Жене кажется, что это не обножка, а «галифе». Цветные «галифе» хорошо видны на расстоянии, по ним легко следить за пчелою, что она несет. Так насмотришься, что ляжешь вечером спать, закроешь глаза, а в них пчелы перебирают ножками в цветных «галифе».

Водит глазами по строчкам дядюшка Тихон, а голову отстраняет. Так, чтобы его малому помощнику было видно.

Ничего такого особенного, чтобы можно было прочесть, Женя, разумеется, не видел. Мальчик рассматривал сот, похожий на подсолнух с вынутыми семечками, куда пчелы наносили меда и перги, пчел, в беспорядке рассыпанных на подсолнухе. Но дядюшка Тихон не спешил.

Много лет пробыл Тихон Чуприн на пасеке, почти всю жизнь, если откинуть молодость на войну. А как увидит матку — невольно остановится. Сколько видел и перевидал он их, и старых, тяжелых, с укороченными крылышками и удлиненным брюшком, и молодых, проворных, кажется бессмысленно бегающих по стенкам улья, и еще совсем белых, не побуревших под печаткой, и побуревших, но еще под восковой крышечкой, поющих в своей келье песню так, что слышно далеко за ульем, а как увидит продолговатое, с желтыми полосками, отличное от всех остальных тельце — сердце екнет.

Женя тоже увидел матку. Но не сразу. Он скользил взглядом по бугристым спинкам пчел и вдруг споткнулся. Но побежал дальше и проскочил, пропустил что-то такое, что пропускать не следует. Перескочил через необычный бугорок, заметя и не заметя его, невольно вернулся.

То была матка. Чудо-матка! Литая, с длинным брюшком и короткими, не покрывающими тельце кры-

лышками, утолщенными лапками. Окруженная свитой, она степенно передвигалась по сотам, любовно тянулись к ней хоботками пчелы. Чтоб силу получить. Веру. Основу жизни. На том запахе, что они возьмут хоботком и передадут остальным, семья держится. И те ароматические частички сигнализируют через пчел во все уголки улья, что он есть, центр сообщества-государства.

Матка, точно литая пулька, неторопливо передвигалась по сотам, проверяя каждую ячейку. Со всех сторон, лучами, ее окружала свита. Мордочками к солнцу. Матка прорывала кольцо окружения и следовала дальше, искала свободные ячейки, а свита настигала ее снова, ощупывая усиками, протягивая хоботки, подавая на ходу, чтобы не терять время, питательное молочко, расчесывала волоски и умывала. А она отыскивала в это время свободную ячейку, очищенную и специально отполированную до сияния лаком-прополисом и тем продезинфицированную, опустила в нее острие брюшка и отложила яичко. Поставила на доньшко жемчужно-перламутровый столбик. Приклеила его. Тихон Чуприн улыбнулся ему, еще сырому, с теплом матери.

Когда он смотрел пчел, лицо его было строгим и одухотворенным. А глаза улыбались. Каждой вести. Каждому движению. Женя глянул на морщинки у его глаз. Они хранили, казалось ему, какую-то тайну.

7

Дядюшка Тихон тут же, как только мальчик посмотрел матку, чтобы не опалить ее солнцем, не мешать чародейству, опустил сот в темную, опушенную пчелою щель межрамья и закрыл улей.

Ульи как люди, и каждая пчелиная семья имеет свой характер: злобивый, медоносный, ройливый. Иные, из ленивых, даже на работу вылетают позже других. И раньше собираются в улей. А то смотришь: уже темно, а она тоненько гудит себе одиноко. Тянет драгоценную ношу. С трудом в потемках отыскивает улей. А если не отыщет — не беда: ее в любой примут. Это воровок и ленивцев сторожа отгоняют от летка, а ту, что с ношей, пропускают, хоть и с чужим запахом она. А наутро к себе вернется. Такая труженица мо-

жет побывать в разных домиках, как в разных странах, и стража ей оборачивается не грозою, а почетным караулом.

Характер пчелиной семьи идет в основном от матки. И Тихон Чуприн отбирал для расширения пасеки спокойные и продуктивные семьи. Но были и такие, что хорошо носили мед и не подпускали к нему. Очень злые. Много яда принял от них Тихон Чуприн, но и много меда отдал людям. Такое противоречие занимало его, и он разводил злые семьи. Для эксперимента. И пошучивал при этом: мы, наверное, вовсе бы потеряли вкус меда, не зная яда. И мед был бы не так сладок, если б не был так труден. Подошел к такому улью, пустил в очко летка дыму. Снял крышку, вынул рамку. Развернул к свету — с силой дохнуло в лицо медово-восковой смесью. Женя заглянул через плечо.

У верхней планки свежий набрызг зерцового, еще не печатного воском меда. Кое-где сетка ровных шестиугольничков залита прозрачными янтарными зернышками наполовину. Островками пошел и белый восковой пушок свежей печати. Это колодочки, как выражаются пчеловоды. В других ульях нет еще печати, а здесь пошла. И если вырезать такую колодочку во время цветения садов, то нет лучшей поддержки чловеку при весеннем недостатке витаминов, чем майский мед. Да не в нем, меде, суть.

Как так не в нем?

А вот так, объясняет дядюшка Тихон, суть пчелы в потомстве. И как бы мы, люди, ни направляли ее на медосбор, все ее устремления нацелены на продление рода. Через медосбор — к роению.

Дядюшка Тихон перевернул рамку и поставил ее так, чтобы видно было обоим. И здесь такая же колодочка с печаткой сверху и янтарной капелью по краям. И расплод так же: по центру печатный, по краям еще открытый. Матка сеет густо, сплошные колышки поднимаются в ячейках лесом. И вот уже тот стручок яичка ложится согнутым полумесяцем личинки в молочко, заготовленное пчелами-кормилицами, плавает в питательном корме, пухнет на глазах, превращаясь в белого червячка — черву по-пчеловодному.

Потом происходит что-то хитрое. Как только черва начинает заполнять всю ячейку, ее замуровывают наглухо восковой крышечкой — на созревание.

Яйцо пчелы, как птичье, зреет теплом и скрытностью. Так, в закупоренной келье, черва буреет и превращается в пчел с мягкими поначалу крылышками. И никто того таинства видеть не должен.

Глянешь на рамку, а она вся всплошную восковым панцирем взялась, под которым растут пчелиные дети. И как только наступит пчеле срок появляться на свет, она разгрызает крышечку. Это ее первое действие в жизни — пробить окно. Продырявит крышечку, точно булавкой, выставит усик. Это у нее, молодой пчелы, наподобие разведки: как здесь, на белом свете? Стоит ли вылезать? Пошевелит-пошевелит усиком — ничего. Можно появляться.

Женя увидел булавочный прокол, замер, глядя, как высунулся антенной усик. А пчела расширила прорезь, обстоятельно осмотрелась. Еще и еще раз. И, прорывая восковую кромку окончательно, точно сбрасывая с себя пеленочное бремя, вылезла на волю. Народилась!

Дядюшка Тихон задержал рамку. Крылышки у пчелы мягкие, и вся она какая-то мучнистая, будто тальком посыпана. Слабая, кроткая — свободно бери руками. Такие пчелы еще не могут жалить, и у них, считай, нет яда. Не накопился еще. Яд ведь тоже почему-то накапливается с возрастом. Женя внимательно посмотрел дядюшке Тихону в глаза. Пчелиные дети как все дети. И отношение взрослых к ним известно: каждый улыбнется ребенку. Улыбнулся и Женя. Дитю народившемуся улыбнулся, хотя еще и сам дитя.

Дядюшка Тихон опустил рамку. Опустил — да поторопился. Что-то хрустнуло под плечиком рамки. И как только могло случиться! Глянул на мальчика виновато, опустил глаза.

«Пчелу раздавил?» — догадался Женя.

«Раздавил».

Она хрустнула хитиновым панцирем, что служит ей наружным скелетом, и тот твердый, еле слышный хруст отозвался в одном и другом сердце.

Сколько за жизнь пришлось погубить пчел — и ненароком, и по необходимости, а никогда не было так жалко: мальчик смотрит.

«Больно?»

«Больно».

Больно было не пчеле, ей уже все равно. Больно людям.

Подождал, пока боль отойдет, вынул новую рамку. Работал он теперь вдвое осторожней.

Это была крайняя, замыкающая, иначе — кормовая рамка без засева. Но на ней бугрился высокий трутневый расплод, и это сказало ему, что пасеку стал он запускать, что силы его поубавились и требовался помощник. Подходящего помощника в колхозе не находилось, да Тихон Чуприн и не хотел его. Просто не хотел сдаваться. К старости мы умом берем больше, чем в молодости. И тем впадаем в обман. И удивляемся себе, что не можем взять рукою то, что берем умом.

Дал бог силы молодости, да обошел разумением. Человек взял ум — да на то силы истратил.

Трутни обычно забивают крайние рамки, где больше меду. И к ним у нас установилось определенное предубеждение, хотя осенью и весной они помогают обогреву гнезда и даже могут, как утверждают теперь некоторые пчеловоды, кормить личинок. Да и вообще трутни играют в улье немаловажную роль — пчела охотнее идет на взятку, если есть полноценная семья. Так что трутни вовсе не трутни в том значении, что вынесли мы с детства по старым байкам. Но когда Женя увидел трутня, то невольно подумал о Пузырике и новой роевне, которую видел в лесу.

Рамка — точно хорошо сделанная литография. Пчелы неторопливо снуют у полочек-ячеек, складывая бесценную ношу; кормилицы поят молочком личинок; строители запечатывают полные медом ячейки, снимая восковую пластинку с брюшка. Есть там у них, на брюшке, такие зеркальца, что крохотные пластинки воска отливают. Точно кирпичики. Разведчица выплывает, указывая своим танцем направление и расстояние до взятка и даже количество его, кладет круги, точно чертежи, с углами, какие надо брать до цветов по отношению к солнцу, с масштабом, что учитывается при полете, — и жирный трутень, жрущий за пятерых, лезет хамом по головам. Сует тупую морду в каждую луночку: что там положили?

— Ты заметил направление?

Женя посмотрел на дядюшку Тихона и понял, что думают они об одном и том же: о том рое, что ушел

в лес, и новой роевне, которую завел Пузырик. Женья кивнул головой.

Тут привязалась сторожевая пчела. Встала у носа, взяла на прикол. Ей почему-то нос нравится. Особенно если он большой. Приколола на месте — не шелохнешься. Дежурит перед глазом, держит в предупредительном напряжении. Такая пчела обычно не жалит, и тут надо переждать — кто кого.

— Ух, стерва! Как «мессершмитт»! — выругался дядюшка Тихон, когда пчела перешла на него, и переждал, пока она отойдет.

Были в войну такие, с желтыми крестами на крыльях. Зудением сторожили лик земли. А вдруг кто шевельнется. Держали нервы в напряжении.

Поддержала старого пасечника, перешла на малого опять. Под самым носом гудит. Он у него и невелик, в самый раз, а облюбовала. Женья не выдержал поединка, сдул с носа будто мошку. Пчела развернулась, стала ближе. Под самый зрачок взяла штыком. Вот-вот жиганет. А жало не пускает, запугивает только. И оттого, что не жалит, а намеревается, еще неприятнее и боязливее становится. Так, наверное, и на фронте. Женья не выдержал и махнул рукой.

— Не ветряная мельница! — строго глянул на него из-под бровей дядюшка Тихон.

Кто знает, кого больше боялся мальчик — пчелы или пасечника. А вернее — обоих. Только пчелы он боялся в самом деле, а дядюшку Тихона побаивался из уважения.

Окаменел, точно в игре «замри», и пчела долго и пристально обследовала его лицо, а заодно и затылок — друг или недруг — и опасно пожужжала под глазом, и даже ударилась в скулу, вроде не рассчитав движения, а на самом деле — провоцируя противника. Как петухи. И не клюют друг друга, а задираются. Кто не выдержит. И так все длилось долго — целую вечность. Женья потерял чувство времени.

Наконец пчела убедилась, кто перед нею — свой же! — и взвилась бесследно в небо. Исчезла, теряясь в кисее черточек меж яблонь. И тут слух восстановился, и напряжение спало, и плечи выровнялись. А Женья ненадолго испытал, что значит быть подневольным.

Так по очереди сторожевая пчела выверила, кто

чем дышит, и занялась делом, дав работать другим. И вздохнулось легче, и звон восстановился. Странно, Женя слышал все это время одно жужжание и не слышал звона. Как легко можно потерять его, от одного страха.

Они благополучно досмотрели самый опасный улей и перешли к другому, и все повторилось снова.

Сыплются в темную прорезь летка пчелы. Звон стоит над логом не умолкая. Дымарь под кустом рисует сизыми завитками по зелени. Рамку берет в руки Тихон Чуприн.

Этой весной мальчик стал замечать, будто рука дядюшки Тихона не так берет рамку, как прежде. Не с той легкостью выхватывает ее из улья, поворачивает к солнцу. Возьмет рамку, вытянет перед собой, а руки ему точно кто вяжет под халатом. Вот-вот уронит. И оттого, что она вот-вот упадет, Женя порывается подхватить ее, да останавливается.

Рамку порывается он подхватить прежде всего потому, что самому хочется подержать ее в руках. Настоящую — с пчелами, с личинками, с трутнями. А может, и с маткой! Своими руками! Самую настоящую, не учебную. И он порывается к ней, мыслью пока порывается, не рукою, потому что старый пасечник еще цепко держит ее, сжав добела пальцы. Старому пасечнику, может быть, и самому хочется дать рамку мальчику, и ему было бы оттого радостно. Но он почему-то не спешит этого делать.

Хотя иногда неверная рука роняла восковую страницу, рамка стучалась об улей, оббивая пчел. Мальчик порывался к ней. Тихон Чуприн кидал досадные косяки взглядов.

Но однажды он нагнулся над ульем, взял рамку да так и остался скобой, не смог разогнуться. Схватила ли поясница, застуженная в окопах?

Бывало и раньше, в холод или слякоть ступит он как-то неловко и замрет, согнувшись скобой. А может, осколок шевельнулся на перемену погоды? Лицо Чуприна перекошилось от боли. Женя хотел подхватить рамку, да удержался. Он знал: в такие моменты прикасаться к больному нельзя. Надо подождать, когда отпустит. А боль все не отпускала. И тогда Женя подхватил многоствольный сот — руки оттянуло вниз. Чуть не стукнул его об улей, но вовремя напрягся — а

запас у него был велик — и поднял рамку к солнцу.

И Тихон Чуприн наконец выпрямился во весь рост, боль его отошла, и он улыбнулся. От облегчения. А может быть, оттого, что мальчик подхватил рамку и сам читает ее, точь-в-точь как это делал он, старый пасечник... Теперь уже дядюшка Тихон смотрел через плечо мальчика — сверху вниз.

Женя посмотрел как следует сот, поставил его на место, вынул новый. Руки его окропили клейкие пятнышки прополиса.

Прополис — пчелиный клей, состоящий из бальзама и ароматических смол, воска и пыльцы, душистых эфирных масел и других клейких веществ. Пчелы заделывают им щели в улье от сквозняков и полируют, дезинфицируя, ячейки-колыбели для малышей. Люди лечат прополисом раны и ожоги. Он липнет к рукам, осыпает пальцы, если возьмешь рамку, коричневой рябью, похожей на веснушки. Он приятно пахнет клейкими почками весеннего тополя, и запах этот благотворно действует на человеческую душу и врачует ее.

Женя поднес руки к лицу и глубоко вдохнул запах тополиных почек. Мальчик любил этот свежий запах природы, вечный запах весны. Теперь и его руки пахли работой.

9

К обеду, когда растения устали и в природе уменьшилось выделение нектара, пчела сократила лет. Тихон Чуприн и Женя сошли вниз, к домику, сели передохнуть в тени навеса. Тихон снял сетку, снял сетку и Женя. Сложили рядом на столе, как боевые шлемы. Сложили в пятнышках прополиса руки.

Дали шевелиться в текучем воздухе от жары. Березки вплелись белыми паутинками в темень леса.

— Что-то припоздала сегодня, — посмотрел дядюшка Тихон на зеленый утор, продавленный в одном месте тропинкой.

Он ждал почту. Почты не было.

Бровка прядает ушами, сгоняя слепней. Байкал залез в тень. Медовым духом тянет от ульев.

— А пора, — глянул на солнце.

Дядюшка Тихон вспомнил о почте, и обоим стало приятно.

Почта — вечное ожидание. И хотя она приносит нам порою огорчения, в целом это отрадные ожидания чего-то хорошего.

Воробьями кто-то сыпнул из пригоршни на шлях.купаются в пыли, подымая дымку. Жаворонок стрекочет в синем небе. Дятел стукнул раз-два в посадке.

— Должна бы уже быть.

На голос вышел Байкал. Лег у ног молча. Воробьев, точно порывом ветра, сдуло. Снялись с дороги тучкой, не распадаясь, развернулись в полете, присели на крышу, точно кто листьев накидал на шифер. И когда они снялись, шумнув крыльями, Тихон снова посмотрел на угор.

Немного поостыв, они сходили испить воды. Пили из родника на солнечной стороне склона. К ручью была протоптана благодарная дорожка. Человеком и зверем. А добрые руки поставили на источник дубовый сруб от пыли и оползней. В сруб никогда никто не лазил, воду брали рядом, в углублении ручейка.

Были в логу и другие ключи, может даже посвежей и студеней, только Чуприн ходил к одному. К нему стал ходить и зверь.

Все идет на солнце — трава, дерево, простая букашка тянется к теплу, и родник идет из темных теснин земли на солнце. Вода! Вот что должно течь вниз! Ан нет. Вверх тянется. К солнцу. Да не каждому суждено к нему пробиться. И тот, которому посчастливилось, который вышел к солнцу, живительней. Так судил Чуприн.

Они стали по очереди на колени — отбили по долгову поклону. Со стороны это могло показаться молитвой. Да то и была молитва. Воде, на которой жизнь замешена. Никогда ни перед кем он не становился на колени. А перед нею, водою, стал. К тому приучил и мальчика. Женя опустился на колени рядом, опрокинул чашу неба перед собой. На лице зашатался солнечный зайчик. Сощурился от света — в глубокой, удвоенной водой и небом синеве увидел белые облака. Облака плыли упругими парусами. Тронул губами воду — заколыхались белые паруса. И когда пил, вода пахла землей и цветами. Еще отдавала она почему-то степной горечью полыни.

— Охо-хо,— с трудом разогнул спину Чуприн.

Дядюшку Тихона мучил давний застарелый недуг. Но он скрывал свой недуг, и Женя думал, что это старость. Его годы считают пятьдесят за старость, в то время как пятьдесят не хотят признавать за старость и шесть, а то и семь десятков. С возрастом каждый из нас отодвигает этот срок подальше, и, чем старше мы становимся, тем решительней отодвигаем его. Человек бы делал такое, наверное, до бесконечности, да совесть надо иметь. Рождение не позволит: жизнь без смерти не бывает.

Смерти он не боялся. Человек должен мужественно бороться со своими недугами и смерть принять достойно. Но временами он так уставал от недугов и самой жизни, что, вспоминая, сколько прожито-пройдено, сколько увидено, соглашался с тем, будто уже и хватит. Это так думалось вообще. А как только что реально касалось смерти, так все прочее заступало одно: жажда жизни. Неуемная жажда жизни, перед которой отступали недуги и невзгоды.

Они испили воды, идущей на солнце, и будто подзарядились свежей силой.

— Что есть жизнь? — сказал Тихон Чуприн.

Он часто говорил о сущности бытия и каждый раз по-иному. Так что Женя, слушая его, так и не мог остановиться на окончательном понятии: что же такое она есть, жизнь?

Он сел в тени под явором. Солнце начало клониться за полнеба, пчелы открыли лет. В воздухе стоял привычный звон. Пахло цветами и медом.

Женя подошел, присел рядом на трухлявое бревно, все в бурых языках окостенелых грибов.

— Скоту нужен корм. Вырасти, заготовь, привези. Сохрани, подай, приberi. Пчеле не нужно всего этого. Она сама берет себе корм. Приносит. Складывает. Хранит. Употребляет по надобности и убирает за собой. Даже стремится умереть вне улья. Ни одно одомашненное животное не способно на это.

Улья цветными домиками в зелени листвы, подернутые паутинкой работающей пчелы. Старый заброшенный омшаник с темной соломенной крышей, позеленевшей мохом с теневой стороны. Серогофрированная спина пчеловодного дома, утонувшего в листве. И над всем этим — пчелиный звон.



— Червь ест лист. Червя берет птица. Птицу выслеживает зверь. Человек тоже в своем существовании далеко не ушел от своих сородичей...

Женя сидел, поставив локотки на колени, держа в ладошках щеки. Глаза его сузились дально. В природе был взяток, на пасеку со всех сторон стекался запах меда. Мальчик слушал о пчеле и думал о ней.

— Пчела не делает этого! Она не трогает листа. Не подтачивает корни. Цветок не трогает. Она оставляет природу живой. Берет то, что ни на что больше

не идет. И, беря себе пищу, не уничтожает жизнь, а плодит ее!

Березы, подбеленные под самую крону; лог, полный звоном. Зеленая радость дальнего леса.

— И если пчела не берет нектар, он истекает горькой слезою вдовы. А растение не дает потомства.

Женя повернул голову, посмотрел дядюшке Тихону в глаза.

— Природа создала чудо: любовь и цветы. Нектар — это любовь цветов. В нем скрыта молодость жизни. И пчела берет любовь цветов и несет человеку!

Сердце его билось часто, ускоряя бег жизни. Женя слышал его напряженный пульс.

— Вот что жизнь!

— А полынь? — спросил мальчик.

— Полынь, говоришь?

Тихон Чуприн ответил не сразу. Он тоже слышал этот постоянный привкус горечи жизни. Да и мед, если он чист и натурален, горьковатый на вкус и даже с душиком.

— Полынь для оттенка. Чтоб человек, зная медовую сладость жизни, помнил горечь ее.

Солнце клонилось к ближнему горизонту лога; буйное разнотравье густело глубинной тенью. В ручье засинела прохладой вода. Тихон Чуприн встал, с трудом разгибая спину, посмотрел в задумчивые дали.

— Диалектика,— выговорил четко.

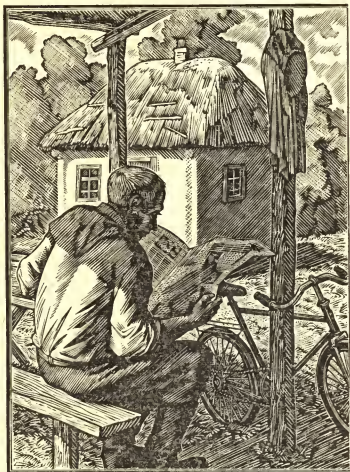
10

На близком горизонте лога показалось светлое, в пятнышках цветов платье девочки. Сад спускался небольшими уступами-террасами. Девочка сходила с площадки на площадку. Через плечо у девочки висела тяжелая сумка, из сумки торчали свертки газет.

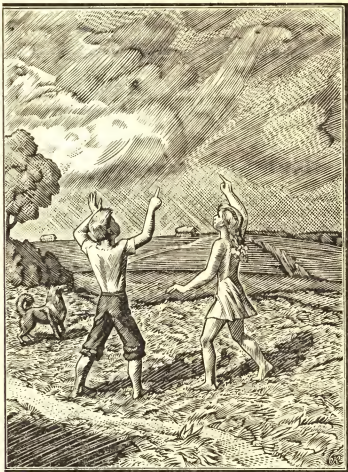
— Летит наша Пчелка.

Летом, в каникулы, Леночка разносила почту за маму, мама ходила в поле. Тихон Чуприн называл девочку-письмоношу Пчелкой.

Вытянулся весь, высматривая на расстоянии, что в сумке, полна ли. Почта давала ему вторую жизнь.



Пчелка прилетела к ним под навес, поставила на стол, не снимая поясok с плеча, сумку. Прилетела Пчелка — обоим стало радостно. Радовались они ее приходу не одинаково: один открыто, он ждал вестей, другой — скрытно, потаенно. Потупил голову, смотрит себе под ноги. В такие минуты Женя испытывал необъяснимую тяжесть. Но почему-то вместе с этой тяжестью все становилось иным. В небе прибавлялось света, в ушах — малинового звона. Голова кружилась от света и звона. Отвернулся, смотрит в сторону.



Воробыи на крыше, точно кто серых камушков набросал; шифер позеленел местами в ложбинках.

Пчелка положила на стол свежие газеты и журналы, достала письма, перетянутые бечевкой. Письма она перевязывала бечевкой при сортировке на почте — так было легче их выдавать. Не россыпью, а пачкой. Положила письма, глянула украдкой на Женю. У Жени почему-то разгорелось одно ухо, хотя письма предназначались вовсе не ему.

— Чтой-то припоздала? — Взял Тихон пачку пи-

сем и, отодвинувшись на край стола, начал развязывать бечевку и тем самым продлевать удовольствие.

— Только привезли.

Лена не была виновата, почту возили на попутных. Тихон Чуприн знал это.

— Ну, это ничего, был бы урожай.

«Урожай» надо понимать двояко. И тот, что в поле и куда брошена вся техника и силы, из-за чего даже почту возили на попутных. И тот, что сейчас на столе. «Урожай» был неплохой, Тихон Чуприн остался доволен.

Тихон Чуприн рассортировал письма на две кучки, перевязал одну бечевкой, чтобы возвратить назад, хотя на конвертах стояла его фамилия. Эти письма надо было передать вожатой в школу «для дальнейшего прохождения службы», как любил выражаться пасечник. Потом взялся за газеты.

— Давай отгадывать облака? — предложила девочка, сняла с плеча поясok сумки и взяла мальчика за руку. — Бежим.

Они любили смотреть на облака и отгадывать их.

— Верблюды! — кричала девочка, и он искал два горба и рядом что-то большегубое.

Небо — это глаза земли. И если человеку свет идет через глаза, то земле через небо. Поднял голову — в глазах отразилось небо. Мал глаз мальчика, а вместил и огромный купол голубизны, и разбросанную по нему белизну облаков, и паутинные полоски пчел. Притенил ладошкой от лишнего света — услышал клейкий запах тополиных почек. То был запах прополиса — работы. Жене хотелось, чтобы Лена видела их, веснушки на его руках.

— Лапа дракона! — задавал он в свою очередь ей загадку.

Потом они играли с Байкалом. Женя бросал кепку, Байкал, метнувшись туда-сюда, приносил ее в зубах.

Каждый раз, когда Лена прибежала на пасеку, пес бросался ей навстречу, виляя хвостом, пригибая голову в долгом поклоне. Чем ближе он подходил, тем ниже опускал голову, и последние метры не шел, а подползал. А потом, прыгая, норовил ткнуться носом в сумку.

Женя бросил кепку — Байкал метнулся в кусты. Вынырнул из густой зелени, будто с уткой в зубах, кинулся в сторону. Пес начинал дурить: и подбегал к де-

тям, и манил за собой, заражая игрой. Но на пасеке шалить нельзя, и Женя погрозил Байкалу пальцем и приставил тот же палец к губам. Пес знал знаки детей, отдал кепку, пошел следом, по пятам, пригнув голову к земле.

Дядюшка Тихон все так же сидел под навесом и шурил глаза над газетой. Распахнул газету как рамку — двери в мир: спокойно и беспокойно было в том человеческом улье на две половины.

Рябь густых морщин, как на воде при порыве ветра, взялась у его виска.

Но прибежали дети, и морщины его разошлись, и глаза просияли улыбкой.

— Как там наш солдат? — спросил неожиданно.

Брат Жени служил на границе, дядюшка Тихон помнил его. В прошлое лето Николай заслужил отпуск. Пришел на пасеку, здоровается — руку не обхватишь. А был точь-в-точь как Женя. С узкими мальчишескими плечиками, тонкой в запястье рукой.

— Ты ему написал?

— Не-а,— беззаботно ответил Женя. Он сейчас не думал о брате.

Тихон Чуприн долго и строго смотрел на мальчика. Затем взял пачку писем, передал девочке. Посмотрел еще раз на Женю, сказал мягче. Не сказал, а попросил:

— Ты ему напиши.

— Угу,— кивнул согласно Женя.

— И про звон напиши.

Мальчик кивнул еще раз охотно.

— Обязательно напиши!

11

Вечером они играли в шахматы. Расставили фигурки, сели с одной, выигрывающей, стороны. Сосредоточились. Тихон оперся лбом на пальцы, мальчик вложил щеки в ладошки.

Они сидели за шахматами, а думали каждый свое. У них всегда так: станут в тупик, вот усталая мысль и норовит высвободиться на простор. Тихон Чуприн думал все о том же — о сладости и горечи жизни; мальчик, откинув голову на спинку скамейки, смотрел

на темнеющие облака и думал, видимо, о чем-то приятном, потому что беспричинно улыбался.

Часто к ним присоединялся Анатолий Егорович, учитель истории. На пасеку он ходил для лечебного дыхания. По состоянию здоровья врачи запретили ему учиться в институте, но работу он не бросал.

Сначала Женя думал, что Анатолий Егорович будет лежать или сидеть и вдыхать воздух, как лечатся вообще, принимая процедуры. Но учитель обыкновенно, как дядюшка Тихон, сидел за шахматной доской и подсказывал свои ходы и соображения, разговаривал и нормально, как все, дышал. Это и называлось у него лечебным дыханием.

Для такого дыхания можно было ходить и в лес.

По этому поводу у Анатолия Егоровича была целая теория. В лесу, как он говорил, растения выделяют фитонциды. Особые летучие вещества, которые губят болезнетворные микробы. Ты вдыхаешь эти частички, и они работают на твоё здоровье. Внутри тебя. Так что лес — это лечебница человеческих недугов. А пчела, вместе с нектаром, с цветочной пылью, вместе с прополисом принося с собой и эти, самые активные и целебные вещества-лекарства, закладывает их в мед. Накапливает их в одном месте. В своих кладовых. Так что, если применить современный и очень ходкий теперь термин, то пасека является зоной повышенной радиации, только доброй, живительной радиации. И нет человеку полезнее дыхания, чем на этих куточках земли, отведенных пчелам.

Анатолий Егорович подошел сзади, постоял за спинами. Потянулся рукой через головы, переставил фигуру. Вывел незадачливых шахматистов из тупика.

Обычно вне школы Женя смущался учителей. Особенно если встречал их вместе с родителями. Смутился он и здесь, на пасеке. И сразу, как ученик в классе, подхватился, уступил место.

— Да сиди ты! — по-свойски усадил его за плечи учитель.

Не найдя, что делать, Женя все же поднялся. Пошел подобрать кое-где забытый на крышках ульев инвентарь.

Было уже прохладно. Малиновый закат, оставив

горящую кромку на горизонте, побледнел. На землю опустился сиреневый вечер. Пчелы, высыпав на прилетные доски, приятно шумели дальним лесом; пахло травами и нектаром. От ульев тянуло теплым дыханием жилья. Запах цветов мешался с острыми примесями прополиса и пчелиного яда. Жене почему-то казалось, что эти примеси как раз и являются теми частичками фитонцидов, что убивают микробов. Вдохнул глубоко, до боли в груди, так, что в глазах серые мотыльки замельтешили, почувствовал, как в нем гибнут микробы. Точно как эти серые мотыльки, исчезающие на лету.

Проснулись кое-где в серой голубизне первые звезды; пролетела, норовя чиркнуть плечо, летучая мышь.

Ласточкой показалась. Только ночной. Крикнул у омшаника сын.

Женя приложился ухом к стенке улья, как прикладываются мальчишки к телеграфному столбу, послушал глубинный органный звон.

Затем сложил в ящик пчеловодный нож, стамеску, разыскал под кустом остывший дымарь. И когда спускался вниз, к домику, снова посмотрел на небо. Небо ему было лицом Вселенной, мальчик поворачивался лицом к лицу.

Учитель и дядюшка Тихон все так же сидели за столом под навесом, но в шахматы уже не играли, а тихо о чем-то разговаривали.

Жене показалось, что говорили они о пчелах. И ему почему-то припомнилось, как однажды в классе Анатолий Егорович спросил:

«Между прочим, знаете ли вы, кто строит себе жилище по самой совершенной архитектурной форме при наименьшей затрате материала и наибольшей прочности и вместимости?»

Ясное дело, никто не знал.

Все приладились слушать, думая, что это его очередное «между прочим», которое очень помогает в учебе.

«А кто поддерживает силы спортсменов во время предельных нагрузок?»

И этого никто не знал.

«Между прочим» Анатолий Егорович любил вставлять постоянно, и они почему-то запоминались ярче

самого урока. А через них — и учебный материал. Выйдешь потом к доске, вспомнишь «между прочим» и расскажешь главное.

«А кто вносит свою лепту в пищу космонавтов?»

Но теперь видно было, что «между прочим» не было конца, и это еще больше заинтересовало ребят.

«Вот что такое пчела!»

«При чем здесь пчела?» — подумали ученики.

«Так вот, между прочим, окаменелости пчел мы находим уже в пластах мелового периода за пятьдесят с лишним миллионов лет до появления человека! Чем глубже мы уходим в историю, — продолжал учитель, — тем больше обнаруживаем упоминаний об этом удивительном маленьком друге людей».

Анатолий Егорович углубился в историю. Он говорил о том, как человек стал добывать мед еще в каменном веке и как пчела почиталась в древности. Как она стала эмблемой Нижнего Египта и как фараоны первой династии высекали ее изображение на гробницах. Как в Индии бог Вишну, олицетворяющий солнце и дающий жизнь Вселенной — всей всемогущей **ВСЕЛЕННОЙ!** — изображался в виде пчелы...

«В наших краях пчела тоже стала помогать людям издревле. На Руси мед был валютой наряду с хлебом. И человек не зря окружил пчелу заботой и оградил законом: смертная казнь за порушку дупел!»

Женя принес ящик и дымарь, поставил на хранение в домик, чтобы железо за ночь не заржавело, подошел незаметно к навесу, присел на краешек скамейки.

Воздух стал легче и прохладнее. В тишине вечера был слышен мирный, отдыхающий шелест ульев. Дядюшка Тихон и Анатолий Егорович говорили о том, о чем говорили всегда — о пчелах. О том, как водили их в старину, сколько добывали и сколько теряли меда и какое место занимала она, крылатая помощница людей, в истории человечества.

— А все от земли идет, — сказал учитель своим негромким голосом и посмотрел на Женю. — Богата она у нас. Не зря наши предки называли свое отечество медотекущим.

Тишина вокруг из шелеста пчел; звездочка полос-

нула воду серебряным волоском. Небо время от времени вздрагивает светом.

Где-то за логом, у мастерских, ремонтировали комбайн, на темном горизонте вспыхивали синие отсветы электросварки.

— Я недавно прочел,— продолжал учитель,— что в войну погибло пять миллионов пчелиных семей...

— Война считает нолями,— ответил дядюшка Тихон, видимо еще не вдумываясь как следует в цифру.

Как-то большие цифры, заметил Женя, мало за себя говорят. И чем они больше, тем труднее их представить. Нам, людям, привычнее считать единицами. Иван, зять, погиб, Григорий, старший брат, не вернулся. Отец пропал без вести...

Так говорил о бабушке и дядях Жени его отец, мальчику было это понятно. А пять миллионов — сколько это?

— Сколько-сколько?..— повел бровями Тихон Чуприн.

— Половина из десяти миллионов!

— Да ну!..— отшатнулся, как от удара, Тихон Чуприн.

Сколько лет пчеловодничал, считал, что знает пчелу как нельзя лучше, а вот, оказывается, не все знает. Не до конца.

Заговорили о войне.

— Захватил я ее-то самый кончик. Да крепко. До сих пор не выдыхаю...

Женя знал, что во время прорыва дядюшка Тихон закрыл горящим танком дзот. Командир и наводчик выскочили, а он вел и вел машину, которая вот-вот должна была взорваться...

Еще Женя знал, что потом дядюшку Тихона отхаживал на пасеке старик. Лечил раны и ожоги медом и прополисом. Давал для поддержки маточное молочко и пергу.

Дядюшка Тихон о себе никогда не рассказывал, но на селе знали о нем.

— Эх,— произнес Чуприн так, вроде о чем-то жалея, и поднялся готовить чай.

Вскипятить чай можно было и на электроплитке, и на газовой с баллоном, что стоит в домике на кухне. Но дядюшка Тихон любил попить чаю с огня — другой коленкор, как он выражался.

Стал на колено, вынул из кармана коробок. Чиркнул спичкой — желтый мотылек поднял крылышки и сложил вверх, в одно. Поднес крылышки под соломку. Заколыхался сизый дымок между лозин валежника. Захлебнулся вдруг — вспыхнул огнем, выпятнав на черном небе желтые лица, точно плоские лики древних богов. Пламя подбилось вверх и выбрало звезды.

Неподалеку паслась Бровка. Отдыхал Байкал, положив голову на лапы, перекинутые крестиком.

Рвутся, трещат искрами узловатые сучья. Капли срываются и с шипением падают в жар, выбрасывая клочки розового пара. Дядюшка Тихон повесил на треногу свой неизменный жестяной чайник, поправил прутиком угли. Поправил угли, потянулся рукой к трансистору. Переносной транзистор с ручкой, с антенной, вытянутой указкой вверх, стоял рядом, дядюшка Тихон щелкнул переключателем.

Он любил по вечерам, не зажигая огня, пошарить по земному шару, потолкаться в суতোлке коротких волн, послушать мир. Включил приемник — пульс планеты, повел волоском по шкале.

Какая толкотня в эфире! Негде ступить! Шкварчит, накаленный, точно перегретый мотор на пределе. Как близко друг от друга миры, и как они, эти миры, соприкасаются вплотную между собой.

— Небо черно ракетами, а эфир забит брехней. Скоро моей пчелке и не пробиться...

Чайник закипел, огонь начал спадать.

Дядюшка Тихон встал, сходил за фарфоровым чайничком, заварил несколько зонтиков тысячелистника.

Чай пили с медом, горьковатый привкус тысячелистника не давал стереть вкус меда.

— Я думаю: как нам надо поворачиваться... — говорил он, — как надо поворачиваться нам, чтобы ничего не случилось. Чтоб не случилось того, что уже было.

Женя принес охапку хвороста, бросил в огонь несколько веток, выбив из костра искры. Теперь



и его искры полетели вверх, к искрам неба, и где-то в невидимой вышине присоединились к звездам.

— Есть у меня одна крамольная мысль. Страшно подумать, не то — сказать...

Посмотрел на мальчика, потом на учителя — говорить или не говорить? Анатолий Егорович прищурил глаза: выдержим. Тогда дядюшка Тихон сказал:

— Если случится что — и поделом ему, человеку! И — поделом! Значит, ума на жизнь ему не стало — лишь на смерть хватило. И — поделом.

Сучья трещат в костре искрами, попискивая синими хвостиками; пламя бьется на жарких лицах. И молчание. Как минута молчания. По человечеству.

Ночью, когда ветки догорели и превратились в розовые кусочки углей вольтовой дуги, когда плоские лики древних богов померкли и переросли в темные силуэты великанов, а над головою, высоко в небе, снова, как всегда — как вечно! — звездами выроилось небо, Анатолий Егорович собрался уходить. Поднялся, вздохнул глубоко, расправляя суставы.

Учитель ушел, а Жене и Тихону Чуприну не спалось. Обнял мальчишку, сказал еле слышно:

— Береги звон, как глаза во лбу. Чтоб люди работали, и где б ни находились, а он стоял бы над ними, медвяный звон.

На горизонте светлой прорезью показал себя рассвет. Роса засветилась в траве Млечным Путем. Струна отозвалась первой пробой у летка. Вставал над землею вечный звон.

13

Шли частые дожди, сочно пахло травой. Пчела сидела в улье безвылетно.

— День нынче сурьезный,— сказал пасечник, осматривая небо.

«Сурьезный» — это холодный и пасмурный. Женья отложил книгу, посмотрел на небо.

Облака, точно вспаханное поле, укладистые гребни лемехов. Воробьи сидят на проволоке, нахохлились. Им так теплее. Плотно устроились. Кажется, что двое сели рядом, а третий влез между ними сверху клинышком. Так и сидит, хитрец, сжатый с двух сторон теплом.

Женья высунулся на порог. Осмотрел пасеку.

Вся пасека завесилась прозрачно-голубой косиной; лист яблони был чист и свеж и блестел, будто смазанный маслом. Вымытые дождем ульи казались покрытыми лаком. Крупные капли дождя, стекая желобками с крыши, мелко дробились у ног. Покалывали кожу холодными иголками. Передернул плечиками, посмотрел на небо. Небо хмурилось на мальчика, мальчик хмурился на небо.

— В общем, дождь идет не туда, где просят, а туда,

где косят, — подал голос дядюшка Тихон из комнаты, и Жене вспомнился отец, как этот дождь досаждал ему, комбайнеру, когда подходит пора выезжать в поле.

Вот бывает у нас: грянет мороз чуть ли не летом! А то подует с Атлантики дождями и заморит росток на корню. Растению необходимо тепло. Растению необходима влага. Да вот беда: тепло несет сушь, влага — холод. Никак одно к другому не подладится. А жить вместе велено!

— Диалектика! — сказал дядюшка Тихон. Накинул на плечи плащ, взял стамеску и пошел сокращать летки. Следом поплелся и Женя.

Проведи рукой перед ульем, особенно в безвзяточное время или когда холодно и дождливо, как сейчас. Пулями воткнутся в нее пчелы. Однажды ночью кто-то залез на пасеку. Крышку на улье сбросил, потолочины сдвинул — меду захотелось. А дальше не проник. Силу встретил. Утром зашли на пасеку — звон не тот. Пчелы злые. И погода хорошая, а жалят. Обнаружили порушку — вот где причина! Стали поправлять — добро делать, а они секут. Неувязка получилась.

Такая неувязка выходила и сейчас. Человек сокращал в улье холод и сырость, а пчела, злая на погоду, жалила его. И Тихон Чуприн вынул жало, поддев его ногтем, и Женя увидел, как это надо делать. Тело дядюшки Тихона не пухло, на коже не оставалось и точечного следа. Мальчик завидовал ему.

— Человек бы не спутал добро со злом, — сказал дядюшка Тихон, точно укусы для него ничего не значили.

И такому терпению позавидовал мальчик.

Так они сократили летки, утеплили матрасиками потолочины, пригнали кое-где поплотнее, чтобы не затекало, крышки ульев.

Где взялся гнилец? Тут погода объявилась, взяткок пошел пчеле — на тебе: понесло от рам вместо медвяного духа тухлым запахом мездровой падали. Так уж, видно, повелось на этом свете: вместе с радостями приходят и горести. Это две сестры родные. Взявшись за руки, разом по земле идут.

«Хорош» американский гнилец! В самый зародыш бьет. В мальков. Родная мать-матка засеет старатель-

но клетчатое поле, труженица пчела вскормит личинок и запечатает ячейку восковой крышечкой. От невзгод. На созревание. Чтобы они потом в жизнь зрелыми вышли. В эту пору и бьет их, незрелую поросль, американский гнилец. Ячейка вроде на вид со здоровым лицом крышечки, а на поверку там, внутри, так что не обнаружишь до полного разложения, душа тлением тронута. Американским гнильцом! Тем самым, что споры вирусные хранит не год и не два, а десятки лет. Что стужу выносит и кипение.

Да и европейский¹ не слаще. Не так он шибает в нос своею уксусно-дрожжевой закисью — все одно насмерть бьет незрелую мелкоту, меняя светло-жемчужную окраску на коричневую.

Дядюшка Тихон услышал этот давний знакомый душок и отпрянул назад. Снова припал глазами к рамке, ковырнул ногтем крышечку ячейки и увидел буреющую личинку. Пригляделся внимательней — кое-где уже крышечки начали проваливаться, показывая коричневое нутро. Не иначе он, главный гнилец! Американский! Которого-то сразу и не обнаружишь. А как уж готов — нате вам!

— Мой руки! — приказал строго своему помощнику.

И вместо мыла всыпал Жене белого мучнистого щелоку. Щелок обогрел реакцией с водой руки, зашел щипками в невидимые трещинки. И бесконечно мылился, отбеливая кожу. Снял даже веснушки прополиса, оставив лишь белые цветочки под ногтями. Так то ж, как говорят, для счастья. Только посмотрели один улей — опять под рукомойник!

По субботам, придя с фермы, мать грела воду в отделенной от дома кухоньке-временке, называемой у нас пунечкой. Воду ставила на газ в огромных алюминиевых чугунах, кипятки лила большим кухлем в ванночку. Женя стоял со спущенными штанишками в уголке, ждал кары. А мать, сильная, большая, не глядя на сына, толчками двигалась по кухне, готовилась к экзекуции.

Так орудовала она огромными двенадцатилитровыми ведрами на ферме, раздавая коровам обрат. Так

¹ Американский и европейский гнилец — инфекционные болезни пчелиных семей.

орудовала она и здесь, дома, только не надевала резиновый передник и перчатки.

И хотя мальчик со слезами на глазах пытался убедить ее в том, что он только что хорошо, даже отлично выкупался в реке, мать брала в руки мочалку, как дубинку.

Мыла она его с какой-то ошалелой одержимостью, и он кричал во все горло, боясь воды, отчего она ярилась на грязь еще больше. В речке он никогда, даже сызмальства, не боялся никакой воды и нырял на самую глубину, а дома, в ванночке, орал благим матом.

«Вон, Роза холит своєю», — оглядывались на пунечку бабы, проходя мимо.

Вымывала она его так, что он светился, как папиросная бумага. Волосы долго не держались на месте, и искрились, и потрескивали статическим электричеством, если их расчесывать.

Но все это не могло сравниться с тем генеральным мытьем, которое устроил дядюшка Тихон на пасеке! Куда подевался его недуг, где взялись силы.

Прежде всего он проверил все ульи, тщательно моя руки после каждого. Выбраковал два, отнесли вместе с Женей далеко за сад и сожгли на пустыре. Страшно было смотреть, как он, прирожденный пасечник, уничтожал пчел. Он жег их с той неистовой одержимостью, с какой мать мыла мальчишку. Но пчела была тут ни при чем, и, понимая это, дядюшка Тихон, сжав зубы, еще больше ожесточался на того невидимого врага, что проник в улей и поразил тлением молодняк.

Затем развел паяльную лампу, оближал жадно-желтым языком пламени землю, где стояли ульи. Перекопал ее глубоко лопатой. Велел снять халат, поставил кипятить его в соде. И не час, не два, а пять сряду! И все это с постоянным мытьем рук. После лопаты и халатов. После ульев и паяльной лампы. Кожа стерлась на пальцах до красных пупырышек.

Мало Тихону показалось и этого. Воду, в которой они полоскались, слил в яму, заготовленную в кустах за домом. И когда вода впиталась, прикопал ее. Еще и притоптал.

— Вот — диалектика! — сел на скамейку, с трудом разгибая больную спину. — Мы в нее, землю, гадость, а она, матушка, нас оттуда цветами дарит!

Дядюшка Тихон нажал кнопку, пускателя, включил циркулярку. Подставил рейку — пила пронзительно завизжала, сделала ровный, по метке, надрез в дереве. Остро запахло сосновой смолкой. Сосновая смолка напомнила мальчику уроки по труду. Женя всегда с охотой шел в школьную мастерскую.

Пасечник отложил в сторону заготовку, взял из рук мальчика другую рейку. Они запасали рамки под вошину к основному взятку, впрок. На пасеке, если присмотреться, считай, любая работа была приготовительной, а та, главная, постоянно поджидала впереди. Женя ждал этой главной работы. В домике, в темной, без окон кладовой, стояла, блестя свежим металлом, новая, волшебная медогонка. Мальчик не пропускал случая забежать посмотреть на дюралевый корпус необычной штуковины с зубчатым колесом наверху и спускным клапаном у самого днища. Особенно поражал своими размерами спускной клапан.

Остервенело визжит циркулярка, смоляной дух расходится по мастерской, устроенной в одной из комнат пчеловодного дома. Мягкая желтая пирамидка теплых опилок растет под станком. Угловатые плечи сутулятся у мерцающего диска. Жилистая рука, опущенная мелкими опилками, лежит на бруске, высокий лоб густят морщины.

Отец говорит, что возле дядюшки Тихона, когда он работает, можно лечить нервы. И знали бы то медики, они бы отправляли своих пациентов не в санатории, а на пасеку, к такому вот старому чародею. Делает он все спокойно, движения рук скупые, но верные. Мастерит неторопливо, а дело вроде само живо подается.

Все у него на своем месте: пила, угольник, циркуль — на гвоздике; молоток и щипцы — на полочке. Гвоздики в жестяных коробочках из-под мятного зубного порошка. Буравчик и тот в своем гнездышке. И чехольчик не из чего-нибудь, а из дерева. И дерево не какое-нибудь, а обязательно яровое. Чтобы сырость не тянуло и инструмент не ржавел. Буравчик сам себе норку вырыл и теперь, без работы, прячется в ней. И дядюшка Тихон не глядя берет что ему

нужно. Протянет руку — молоток, еще раз протянет — долото с железным кольцом на ручке, чтоб дерево не кололось при ударе, а то и рубанок или щипцы окажутся в руках. И кладет на место не глядя. Он и в темноте, казалось, смог бы работать.

Напилил прорезов-меток с обоих концов на рейках, выключил мотор. Взял, не глядя на полку, долото и деревянный молоток величиною с кувалду. Стал скалывать места под плечики рамки. Подготовил несколько штук, а потом, вроде у него что-то срочное нашлось, передал молоток Жене — попробуй. С теплом передал, что на ручке осталось. Женя взял молоток, и то рабочее тепло одной руки перешло в другую.

Обычно на пасеку завозили готовые ульи и рамки. Тихон Чуприн лишь кое-где подгонял по своему усмотрению, так как жилище пчелы должно быть рассчитано в миллиметрах. Но в саду стояло несколько домиков и его собственноручной работы. Домики отличались добротностью поделки и любовной затейливостью цветных карнизов, летковых створов и прилетных досточек. Та затейливость сразу обращала на себя внимание свежего глаза. Да не каждый мог знать, что все нагрождено неспроста, а с умыслом. Тихон Чуприн всю жизнь экспериментировал.

Готовили они и сейчас свой особый, экспериментальный, улей, и дядюшка Тихон мастерил его не просто, не как всегда, а как Женин улей. Тот улей отличался от обычного размерами и высотой рамки.

Построить домик — особое удовольствие. Ведь улей — это маленький теремок с порошком, крышей и слуховым окошком на фронте для вентиляции, с потолочинами и мебелью рам внутри. А кому не интересно построить игрушечный теремок.

Дядюшка Тихон передал долото и молоток мальчику, а сам подошел к окну. Пихнул рукой половинки рамы, впустил в мастерскую звон.

Вместе с медвяным звоном дядюшка Тихон впустил в дом и стрекот кузнечика. Это отец Жени пробовавший свой комбайн на дальнем краю поля.

Машину отца мальчик отличал по звуку, и каждый раз звук отцова комбайна отзывался в его сердце.

Покончив с рамками, они стали вкладывать их в теремок. Для примерки. Улей стоял ожидаемой радостью в углу, приятно желтели деревом его слоистые



бока. Вытянули улей на середину, сняли крышку. И Женя представил, как они выкрасят улей и как любо будет посмотреть на цветной теремок в саду.

— Вот пчелы обрадуются!

— Не очень,— заметил дядюшка Тихон.

— Это почему?

— Пчела этому как раз не обрадуется,— сказал дядюшка Тихон и, как всегда, после паузы добавил:— Пчеле в природе красок хватает. Она видит и такие, что человек не берет. Ей бы лучше простое дерево

да еще из липы. Липовый мед — липовец — с цветущей липы да в липовую бочку из липового улья — в самый раз на стол.

Сказал и нагнулся поставить в улей рамки. Перегнулся, а рубаха задралась. И Женя увидел на спине шрам. Огромный, в ладонь. Мертвенно-белой выемкой в глубь тела вобран — вот она, война! Сколько лет прошло, а она до сих пор под рубахами таится...

Мальчик знал, что Тихон Чуприн покалечен войною. Так, что семью не завел, — зачем томить недугами другого человека. Но все это он слышал от людей. Теперь же увидел своими глазами.

Тихон Чуприн почувствовал его взгляд и обернулся — ничего не поймет. Мальчик стоит перед ним с молотком и долотом — лицо, зарозовев, взялось оспинками трудового пота, волосы взъерошены, глаза расширены. Что-то не так. И когда догадался, одернул неловко рубаху. Как будто был в чем виноват.

Сказал совсем другое:

— Мы тут малость заширили, придется один край расшивать... — и показал рамку, где они «заширили» и где надо теперь отпиливать.

Женя смотрел на рамку и не видел ее. Весною умер Сергей Филиппович, дедушка его школьных друзей Витьки с Митькой. В войну он отморозил ноги и всю жизнь, зимой и летом, проходил в валенках и не расставался с бинтами. Хоронили его уже по теплу и впервые, считай за всю жизнь, надели ботинки. Женя вспомнил эти новые, ни разу не обутые ботинки, вспомнил, как Сергей Филиппович из года в год сох, усыхал войной, как в последний раз, когда вручали юбилейные медали, со сцены снимали его на руках, и впервые так подумал о дядюшке Тихоне. Холодок ледяным потом проступил на спине.

— Дядюшка Тихон, а врачи?..

Тихон Чуприн понял, о чем его спросил мальчик. Подошел к нему, положил руку на влажную голову.

— Этого они еще не могут...

Сказал и тут же перебил себя:

— Ну, об этом потом. Сейчас надо рамку поправить.

«Потом» — это никогда, знал Женя.

Ему снилось, будто идет война. И он бежит с автоматом наперевес, а пули свистят, и воют снаряды — и вдруг нестерпимая боль в спине. Страшная боль той глубокой раной, которую он увидел. От раны Женя ворочался в беспамятстве на госпитальной койке, от нее он и проснулся.

Но проснулся он вовсе не от снов. Его будил дядюшка Тихон. Пасечник стоял над мальчиком, легонько трогая его за плечо. Женя открыл сухие со сна глаза, заморгал ими, будто кто сыпнул в них песка. И улыбнулся свету, жизни, ему, дядюшке Тихону.

Было раннее утро. В окно, выделив крестовины рам, забрезжил пепельный свет. На серой стене темнели овалом часы. Виднелся квадратик календаря. Дядюшка Тихон подошел и сорвал вчерашний день. Открылось красное число. Женя все вспомнил, быстро подхватился и пошел искать Бровку.

На дворе было свежо, туман лежал пластами, и в ложбине он казался речкой. Пахло травой и свежей росой. И если б не этот запах под ногами, если б не те копны сена шапками над молоком, лог можно было принять за водоем. Бровка стояла на возвышении по живот в тумане, и казалось, будто она сказочно плыла в нем. Женя любил облака и лошадей, но еще никогда в его воображении так волшебным не накладывалось одно на другое. Бровка повернула голову. Женя накинул узду, и они спустились в молоко, и бесследно исчезли, и поднялись уже по эту сторону водоема.

Подвел Бровку к бричке, обернул в оглоблях. Принес крашенную голубым дуго. Пристегнул вожжи, пошел в домик.

Пел на ветке синюю рань, распуская крылышки, конопатый скворец. Светлело буйное разнотравье. Заводились гулом моторов ульи. Женя прихватил плетеное лукошко для ягод, Тихон Чуприн налил в баночку меда. Сели на бричку — Байкал увязался следом.

Тогда дядюшка Тихон придержал вожжи, повернулся назад. И Байкал понял без слов, и опустил голову, глядя из-под угольничков бровей, завилял виновато хвостом и повернул к дому. За многие годы совместной жизни на пасеке они научились говорить без слов. Жене и Тихону было жаль его.

Выехали они до лета пчел, дышалось легко и свободно. Бричка мерно пошатывалась на рытвинах, дядюшка Тихон то и дело придерживал вожжи, следя за дорогой.

Как инвалиду войны, ему была положена автомашина и ежегодная путевка в санаторий. Но машину он не взял — куда ездить? — и путевками не пользовался: какой курорт может сравниться с пасекой.

Выбрались на угор, проехали мимо кладбища. Что-то глубинной болью отозвалось в сердце. Кладбище было ограждено глубоким, от скота, рвом, деревянные воротца кто-то ненадежно пристегнул проволокой. Деревья росли на кладбище крутыми уступами к свободным местам. Чем свежее были могилы, тем слабее покрывала их зелень. Жутко было смотреть на бугорки с крестами, но еще страшнее казались пустые, без деревьев, места...

Ехали молча, не глядя друг на друга.

Солнце показалось лишь в половине шестого; и туман осел, сошел низами; и дали очистились и открылись. Небо было не голубым, а с земной прозеленью. Летом от зелени земли и небо зеленое, как зимой — светлее от снега.

Пчелы уже открыли лет и обгоняли повозку, заражая движением. Бровка шла бодро. Близилась темной полосой по горизонту зеленая радость леса. Все было прекрасно: и буйное разнотравье опушенного по краям леса, и желтая, с розовым отливом, палая хвоя густого сосняка, и светлые рощицы веселых берез. Когда они вступили в этот рай, чуть заметное дуновение ветра тронуло верхушки деревьев и лес встретил их аплодисментами листьев.

За березами показалась плотная зелень дубняка. Шевельнулись, заходя друг за дружку, салатные пальчики свежих — нынешнего лета — мутовок сосны. Осенью мальчик любил побродить в дубняке по листьям, как по воде; послушать, как шумит в голых ветвях ветер, или повалиться спиной на пестрый желтизною матрац осени. И смотреть, как от ветра колышутся голые ветви деревьев, как шумят щетинистые вершины сосен. В бурю вершины сосен кланяются облакам и дальний лес шевелится, как море, как пшеница в поле, когда идешь на нее комбайном.

Валяется под кустом битая бутылка. Цивилиза-

ция продвигалась в природу осколками стекла, рваной бумагой, ржавым железом консервных банок, и тот осколок битого стекла добавился к тому, что загнан войной, и Тихон смотрел на все это с болью в глазах.

— Ну, хорошо,— сказал дядюшка Тихон, когда они свернули лесным коридором и поехали по мягкому коврику из палой хвои,— бумага истлеет. Железо перержавеет в труху. Но стекло ведь останется на миллионы лет свидетельством нашей дикости.

Мальчик молчал, поджав ноги, будто был в чем виноват.

— Не в землю — мне вот сюда тот осколок за-бит! — указал на грудь Тихон Чуприн, остановил лошадь и, прихрамывая, направился к бутылке.

Женя опередил его.

Когда они управились с осколками стекла, бросив его в задок брички, дядюшка Тихон взял вожжи. Сказал с болью в голосе:

— Чем больше земля забита мерзостью, тем меньше места пчеле, звону.

Мальчик сидел, свесив ноги, ухватившись руками за край брички, смотрел, как хвоя полирует и до того набитое дорогой железо шин, как в коврике продавливаются глубокие следы и хрустят шишки и как эти следы затем выравниваются, шевелясь живыми иглками.

Безобразное место проехали, а из головы его выкинуть было трудно.

Проехали то место, где Женя встретился с Пузыриком. Дядюшка Тихон ничего не подозревал, а Женя хотелось приостановить лошадь и показать.

Солнце подбилось уже довольно высоко, и верхний шатер веток просвечивал настоящим днем, но здесь, внизу, было темно и сыро, как в погребе.

— Горе ты мое чубатое! — усмехнулся Тихон Чуприн. — Украшай голову знаниями, а душу — поведением, и ты будешь самым красивым человеком!

Остановил Бровку, легко, не по годам, прыгнул с брички. Закрутил за сосну вожжи. Достал баночку с медом.

Шли они узкой, на одного человека, тропкой, что вела к озеру, туда, где цвела крушина.

Крушина, невысокий кустарник с гладкой темносерой корой, покрытой белыми крапинками, не ахти

какой медонос. Но цветет долго и может значительно подкрепить пчелу к главному взятку. Ее-то и разыскивал Тихон Чуприн.

Вскоре лес расступился, и они остановились перед бело-голубым озером, вправленным в рамку зелени. Туман стоял над самой водою кружком, по краям проткнулись из тумана хворостины камыша. В этом озере Женя удил с друзьями карпиков. Место было приметным. А прошлым летом они стояли здесь отрядом во время похода. Спали в палатках, сухие шишки стучали о брезент. Вечерами подолгу сидели у костра, и потом еще несколько дней руки пахли костром. И Женя удивился, что дядюшка Тихон отыскивал ничем не приметный кустарник, на который никто не обращал внимания прежде.

Кустарник был усыпан белыми мелкими цветочками. Цветы тянулись к солнцу, у цветов, шатая листья, летали пчелы. Дядюшка Тихон поднял с земли прутик и помазал несколько овальных листочков крушины медом. Затем отошел в сторону и стал наблюдать.

Женя прилег на траву тут же рядом, поставил на землю локотки и, оперевшись на руки, смотрел, как работают, путаясь в цветах, пчелы. Некоторые из них сразу почуяли приманку и начали падать на листья, и вытягивать хоботки, и шатать брюшком. Так они накачивают нектаром свой медовый зобик. И конечно же, дышат.

Вскоре ветки крушины зароились серым дымком точек, и от нее потянулся рукавом прозрачный след из пчел куда-то в глубь леса. Тихон и Женя пошли по указке и через несколько минут остановились перед толстым, в два обхвата, деревом осины. Кора на осине была старой и потрескавшейся. Местами в трещину можно было заложить ладонь. Кое-где, на высоте, торчали сухие сучья. Некоторые из них были сломаны почти у основания.

Ну что такое сучок, ничего не значащий для дерева! Обломался, неся недолгую, но полезную службу, когда дерево тянулось в борьбе за свет, сгнил валежником, оставив на теле слабую память родимым пятном. То добрую, а то и такую, что обернулась злом. И никто бы его, может, не помянул, кроме как топор, если б не то еле заметное, но роковое для дерева пят-

нышко, что открыло доступ к сердцу. И не видно его почти, пятнышка, дерево надежно запахнуто корой, а смертельный пролаз остался. Села принесенная ветром спора гнили на то место и пошла дальше вглубь, достав сердцевину.

Нет худа без добра, как, видно, нет и добра без худа. Сердцевина выгнила, образовалось дупло — пристанище пчеле. И Тихон Чуприн искал именно такой сучок, который оказался бы для дерева губительным. Есть такие дупла, метров на шесть, а то и на восемь высотой. Без сквозняков, чего боится пчела, с единым сучком-входом, суженным на зиму прополисом для укороченного дыхания и расширенного летом для взятка.

Найдет кто-нибудь такое дупло с пчелою, сделает зарубку: мое! Идет за топором и пилою. Спилит осину, поделит нарезками и вскрывает по частям. Вскроет нутро, а там соты в шесть — восемь языков идут рядами сверху донизу метра на четыре-пять длиной, полные медом. Нарезет ведер десять — тянет домой.

Все это было похоже на сказку. И поначалу Жене даже как-то не верилось. А как увидел настоящее дупло с дырочкой-входом на месте сучка, с пчелами и, наверное, медом — только ахнул!

— Как там у вас в учебнике сказано: «...не передавивши пчел, мед не есть»? Есть они и у нас, охотнички до такого меда... — сказал дядюшка Тихон и обошел толстую, в полтора обхвата, осину.

Обошел осину один раз и другой, а пробоины в дереве, сучка, не обнаружил. Пчелы кружились возле ствола и бесследно исчезали, и снова появлялись, и уходили, и приходили, а где скрывался лаз, не могли отыскать.

И тут оба — и старый пасечник, и малый — обратили внимание, что пчелы идут под словую ветку, протянутую к осине лапой. Оттуда и вылетают холостыми, облегченными выстрелами. Дядюшка Тихон отвел ветку рукой, увидел темную норку.

— Ишь ты, как устроились!

Женя хлопнул в ладошки, присел на радостях, в то время как надо было наоборот — вытянуться, чтобы заглянуть в норку.

Теперь им оставалось закрепить находку. Сделать натес и поставить роспись. Как делали в старину. Так

ведется в наших краях спокон веку, чужое дупло никто не тронет. Дядюшка Тихон отвел дальше лапу ели и открыл уже готовую надпись.

Натес был сделан ниже входа в дупло. На свежем, еще не почерневшем дереве стояла фамилия Пузырика. И число. Женя вспомнил, что это была дата их случайной тогда встречи в лесу.

16

Тихон долго ковырял пером бумагу, наконец поставил точку. С годами у него все больше тянуло на шрамах кожу, правая рука теряла верность и силу, а левой не стал переучиваться: не так уж велика его канцелярия учета и записей наблюдений, чтоб на перо налегать. Память справлялась.

Начал заполнять адрес. Писал он старой ученической ручкой, и в школе, в конце года, когда заполняли свидетельства, посылали к нему за перьями.

Писал он своему другу, которого никогда не видел, но с которым сросся, как дерево с землею, и без которого жизнь бы казалась не полной. Нельзя сказать, что это был давний друг. Узнал он его совсем недавно, о чем глубоко, видно, сожалел. Но это был самый настоящий друг. Ведь не важно, что они ни разу не пожали друг другу руки, важно, что шли в ногу.

«Уважаемый Тихон Максимович,— писал далекий друг трудноразборчивым, как у самого Чуприна, подчерком,— Вы верно поняли нашу общую задачу и хорошо, что сразу взялись за дело и уже кое-что успели...»

То письмо хранилось у Чуприна в особом конверте, время от времени он вынимал его и перечитывал.

«Сбор семян медоносных растений, закладка коллекционного питомника в пределах пасеки, не просто озеленение, а посадка деревьев и кустарников, дающих нектар, использование пустырей вокруг водоемов, вдоль рек и дорог, засев бросовых земель, а точнее, вытеснение сорняков медоносами, так, чтобы и овраги несли мед, а не разрушения, в общем, создание непрерывного нектаро-пыльцевого конвейера для общественного пчеловодства в сочетании с развитием семеноводства и увеличением продукции лекарственных

ного сырья ряда полезных трав для медицины — в этом направлении начинает наше пока не официальное общество, которое в процессе работы и поддержки с мест деловым откликом получит признание общестественности и право на свое существование и легализацию со стороны государства...»

Письмо было написано деловым стилем, что сразу как-то ставило их в официальные отношения. Но суть была в другом, и Тихон Чуприн, передохнув, вот уж в который раз читал дальше.

«Пока мы сотрудничаем в тесной связи с Обществом охраны природы и местной секцией пчеловодства, что советуем сделать и Вам...»

Сил оставалось мало, работы — неуправляемый. Сколько он помнит себя, перед ним всегда стояла гора дел — и то надо, и это не ждет. И он брал с той горы щепотками, а она не уменьшалась, а росла.

«Естественно, мне, восьмидесятилетнему старику, даже при здешней поддержке энтузиастов, нет никакой возможности справиться с теми заявками, что поступают отовсюду на семена медоносов, и мы рады, что часть этого благородного труда Вы взяли на себя, привлекая молодежь, и в первую очередь школьников, что одно уже это имеет не только хозяйственное, а и большое воспитательное значение...»

Он читал, а руку с письмом отодвигал подальше, вроде для глаз, а в сущности для мальчика, чтобы и тот заглянул. Известно ведь, что к старости появляется дальновзоркость и приходится все отодвигать дальше от себя и ближе к другим. Он отодвигал письмо дальше, а выходило ближе. К мальчику. Как, бывало, рамку возле улья. И Женя заглянул.

«Помимо изготовления одного-двух десятков аптекарских пакетиков, что под силу каждому ученику, пусть на уроках труда, можно организовать воскресные экскурсии по сбору семян дикорастущих медоносов в лесных и полевых угодьях с целью изучения местной флоры, заложить коллекционный питомник и выращивать отдельные виды кустарников и трав на пришкольном участке, устроить перед каждым домом силами детей палисадники цветов, с тем чтобы деревня стала центром медоносного цветения для красоты и пользы людям...»

Падают на прилетную доску отяжеленные некта-

ром пчелы, медвяный звон стоит над землею. Стреко-
чет вдали комбайн.

«Всю эту полезную работу необходимо сочетать с развитием пчел для увеличения урожайности на полях с таким расчетом, чтобы пасака вошла составной и значимой частью в единый сельскохозяйственный комплекс...»

Тихон Чуприн передохнул и глянул украдкой на мальчика. Увидел чуть заметные рябинки на руках. И не было лучше дара одним рукам, чем проба других рук.

«Вы откликнулись теплым письмом и делом, разослали первые две тысячи пакетиков, и мы занесли Вас в список актива нашего общества, надеясь на Ваше участие в работе по Вашим силам и возможностям...»

Женя прочитал и попытался представить, как письма с пометками «Семена» разошлись по земле предвестниками доброго посева и как в самых разных уголках страны к тем письмам, на которых остались и его следы, прикоснулись другие, неведомые, а в действительности такие же ребячьи, как и его, руки. Обменялись рукопожатиями через расстояния.

«В этом направлении будем рады нашей дальнейшей связи.

*И. О. секретаря
и распорядитель семфонда ВОРМ,
пасечник Барсук».*

Дядюшка Тихон сложил письмо.

— Фамилия-то какая настоящая! — произнес он вслух.

Глаза его взялись чуть заметными морщинками.

— А что это ВОРМ? — спросил Женя, как всегда с удивленно поднятыми бровями.

Коротко Тихон Чуприн разъяснил:

— Общество распространения медоносов.

— А есть такое? — с недоверием посмотрел на него мальчик.

— Есть, — ответил дядюшка Тихон.

— Ты забыл одну букву, — заметил ему мальчик.

— Букву? — поднял бровь дядюшка Тихон.

— Угу.

— Я и сам не знаю, — чистосердечно признался пасечник. — Тут можно подумать по-разному. И все-российское. И всемирное тоже. Как хочется.



Мальчик думал. Он думал, как же в самом деле сделать всю планету не смертоносной, а медоносной. Чтоб над землею стоял не рокот ракет, а звон медвяный.

Показалась светлым пятнышком на близком горизонте лога девочка-почтальон. Спустилась под навес, и весь свет стал шире. Поставила тяжелую сумку на стол, вынула пачку писем. На конвертах были отпечатаны цветочки, точно тот посев, что они отправляли в пакетиках, вернулся им урожаем. Со всех

концов пчелы-письма несли сюда, на пасеку, где сходятся все пчелиные меридианы, благодарные вести.

Светит высоко в небе ясное солнце, пчелиный гул стоит над землей. Стрекошет в поле комбайн.

— Не пчеловоды мы. Не комбайнеры. Мы — сеятели! — Тихон Чуприн положил руки в шрамах на письма-заявки. — Не зерно бросаем в землю — добро. Чтобы оно взошло над миром медвяным звоном!

Дядюшка Тихон был, конечно, немного романтиком. Но это ничего. Это, говорят, разрешается. В двух случаях: старым и малым.

17

Травы, как люди, говорит дядюшка Тихон, есть медоносные и есть безмедные. Чистые сорняки.

Есть у нас одно сорное растение, которое называют в народе немецкой травой. Внешне оно смахивает на подсолнух с таким же грубовато-шершавым листом. Только лист тот поменьше и вверху растение это выкидывает не зеленый кулачок, что потом раскрывается желтыми пальцами лепестков, показывая свою конопатую ладошку масляничных семечек, а метелку с густо посаженными на каждом прутике чашечками. Чашечки набиты черными маковками семян. Бурьян этот обходят гуси, не трогают коровы. Его не топчут лошади. И он теснит разнотравье преступным захватом света и несносной плодовитостью. И был бы на той ведьминой метелке конец, и так этих коробочек хватит на доброе поле, так нет же: каждый лист, из устьица, пускает и себе по стволу опять же с метелкой. Как бывает подсолнух: пойдет у него жизнь наперекос, вот он и давай прыскать головками во все стороны из каждой листоножки. Тут бы опять остановиться тому разветвлению, так нет, брат, каждый лист отпрыска норовит пустить и себе по метелке. Трудно сказать, сколько было бы того семенения, если бы те зеленые коробочки не прижимали заморозки.

Что такая трава наглее всех прочих сорняков, скажет любой тебе школьник из наших краев. А вот происхождение названия за давностью лет установить трудно. Но легенды народной памяти упорно несут и до наших времен сказ, будто ту траву завезли сюда,

на нашу землю, вражеские обозы. Вместе с фуражом для лошадей. Постояли в деревне тяжеловесными бричками на ручных тормозах и убрались. А семена просыпались.

Сколько ему, зернышку, места на земле надо. Упало оно незаметно и пролежало притаенным до той победоносной весны, когда земля очистилась от порохового смрада и люди порадовались долгожданному концу. А оно в это время обогрелось общим на всех солнцем, отобрав и себе незаметно лучик, продырявило корочку земли копьём ростка. Выметнулось в стороне и посмеялось над нашей беспечностью. И как взяло силу — пошло душить прочее скромное и медоносное разнотравье.

Опять же легенды рассказывают, будто эта немецкая трава в тех дальних местах, откуда она пошла, в пользу ведется. Высевают ее там на силос скоту. Только Тихон Чуприн покачал головой при этом: может, на тех камешках и песочке — видел он их! — она и безвыходна своею живучею наглостью, только наш чернозем не жених ей. Наши земли надо мерять не гектарами, а по весу. Не зря ведь в те горькие годы коричневые вагончики с желтыми орлами у смотровых окошек, прикатив сюда с боеприпасами, грузились назад русским черноземом. На камешки те да на рыженький песочек...

Природа одержима семенением. Так что те рассказы о немецкой траве могут быть чистой выдумкой. Окостенелой легендой прошлого, накрепко засевавшей в памяти. Однако земле, а вслед за нею и пчеле оттого не легче, уж не говоря о прочей травяной поросли. Вымахивает она выше человеческого роста, образуя сплошные заросли, где уже ничто не растет.

Такой бурьян рубил Женя со своими друзьями на заброшенной конюшне, куда не мог зайти трактор и где остались так и не вывезенные добрые кучи наилучших в мире удобрений.

Рядом с ним, по левую руку, стоял Митька Федотов. Курючка — по-уличному. По правую — Витька, родной брат его. Витька сидел за одной партой с Женей, угощал иногда соседа тумачами. Женя давал сдачи.

Женя махал шашкой, и перед ним то и дело вставали все новые и новые цепи зеленых шинелей, и он бил

их, сокрушая, и приговаривал, и оттого валились они наземь еще шибче.

Бабушка его жила в войну на Урале, работала в госпитале сторожем. Но так только считалось, что сторожем. Была она и сторожем, и дворником, и истопником одновременно. Коряги железные — силы девичьи. Морозы лютые — одежка ветхая. Харчи неважные — поленьев горы. Рубит — сердце заходится. Мужик бы хекал — и то легче. А она и этого не умеет. Вот ее и обучили сибирячки приговаривать. Попробовала — живее пошло. Рубит она и приговаривает. Честит при каждом ударе. Гитлера, Геббельса, Геринга, Гиммлера. В общем, всех на «г». И колоды разлетаются в щепки! И ей становилось легче, а раненым теплее, отчего раны, как известно, заживают лучше.

«Да в той жизни чему только не обучишься», — оправдывалась она прошлым временем.

Рубит Женя траву, валит набок подчистую семенную нечисть, а ему вспоминается бабушка. Как она рубила. И он, вспомнив ее, улыбнулся. Ее наивности. Да почему-то легче становилось самому с тем приговором. Отмахал смену, детскую, конечно, их смену, отрядную, и вожатая Валя хвалила его.

Не знала она, незадачливая Валя, как он рубил. И кого!

Выстроила всех после работы, вроде линейки, итог подбивать. Чтоб не забылось. Отчитала как следует Витьку с Митькой. За Женю взялась. Думал — влетит, а оно — наоборот. Похвалила. Витька незаметно кулак показал. А Жене грустно. Не от кулака, конечно. Ему ведь вспомнилась бабушка, и он похмурился. Бабушки уже не было, вместо нее высился на кладбище чуть приметный холмик...

Всю жизнь она страдала недугами, жаловалась, что здоровье ее и силы война взяла. Она говорила, что, если бы не война, ей бы износу не было. Но Женя как-то не обратил внимания на те слова. А как увидел войну своими глазами — шрам раковиной в глубь тела под рубахой, стал задумываться.

«Как же так, — рассуждал он, — на войне не была, а жизнь раньше срока из-за нее, войны, потеряла?..»

Дома Женя высыпался вволю. Мать уходила рано, отец ночевал в поле. Не в поле, конечно, а в палаточном лагере неподалеку от леса. Лагерь открывали на время жатвы, дабы не тратить драгоценное время на переходы. Мальчик не раз ночевал с отцом в палатке и обедал вместе с механизаторами за общим столом под ясенем, и купался в солнечном душе, обтянутом оранжевым пластиком.

Проснулся в начале девятого, когда солнце уже припекало как следует, сладко потянулся.

За окном дружно щебетали птицы, ворковали горлицы. Стрекотал кузнечик.

Рядом, на тумбочке, приятно пахло речной свежестью белье. Лежала книга. Протянул руку — достал плотный кирпичик. Открыл заложенную соломинкой страницу.

Женя любил читать фантастику. Свои книги он сложил так же, на полочке, как дядюшка Тихон. Только это были книги не по философии.

В свободную минуту, когда дядюшка Тихон брался за свою философию, Женя тянулся к фантастике. Открывает книгу, уйдет в мир воображения. Сидят рядом, а находятся бог весть где друг от друга.

Пели за окном птицы, ворковали за посадкой горлицы. Шелестели отдаленным гулом машины. В такую пору вся земля гудит моторами. Женя вспомнил палаточный лагерь, общий веселый обеденный стол — и ему захотелось к отцу.

Громадные неуклюжие сельскохозяйственные машины напоминали ему допотопных динозавров. Но как только он садился за штурвал, дотягивался ногами до педалей и машина-гигант послушно повиновалась его воле, мальчик сам начинал чувствовать себя великаном. Так, видимо, должен чувствовать машинист шагающего экскаватора, кидая ковшом стотонные глыбы.

Подхватился живо, отложив книгу. Вышел на улицу.

Был тихий, теплый, ройливый день; светило солнце. Одурающе пахло цветами и травами.

Спустился тропинкой вниз по кособору.

Жаворонок высоко в небе порошит глаза мерцанием крылышек; белые сверху, темные снизу облака

кто-то дюжей рукой забросил в синь реки. Дальние домики, похожие на улы, смотрятся светлыми поутру лицами в воде. Водоросли в коричневой глубине в одну сторону причесаны, травинка к травинке, течением — гребенки не надо. Гуси на изумрудной зелени выставились белизною, отражаясь в воде клочками ваты...

Бухнулся вниз головой с обрывчика — разбил вдребезги и темно-синие облака, и светлые личики дальних ульев, и белые клочки гусей, и даже темное, еле приметное в отражении воды мерцание жаворонка.

Вылез на берег. Захватил на ходу одежду. Поднялся по кособору вверх.

Вошел во двор, услышал непонятное — и понятное! — жужжание. Повернул голову. Увидел под яблоней, у развилки ветвей, нарастающую бородку из пчел — захватило дух. Рой садился на яблоню. Ветка, опущенная пчелою, оседала книзу живой тяжестью. Не бородка, а целая борода!

Пчелы держались друг за дружку лапками и растягивались в цепочку. Цепочки вязались одна с другою колечками кольчуги. Недаром древнеиндийский бог любви Кама придумал себе тетиву для лука из пчел: сборщицы нектара могут отлично вязаться лапками друг с другом. И та стрела, что пронзает два сердца, обмазана медом и ядом...

От кольчужки отрывались клочья серой живой пены. Пена падала вниз, в траву, и, не долетев до земли, разваливалась на меньшие куски и вовсе истаявала, поднимаясь вверх отдельными крапинками, после чего кольчужку будто кто снова дотачивал добрым куском густой сетки.

Женя увидел, как утолщается, оседает к земле ветка, — бросился бежать, не зная куда.

Выскочил на улицу — никого. Заглянул к соседу через забор — пусто. Глаза расширены, ноздри ходят от частого дыхания.

Стояла самая напряженная пора года, время пик, сказали бы в городе. В деревне взрослого населения не было. Он, ошалелый, помчался улицей. Два желания одновременно рвали его маленькую душу на части. Ему хотелось немедленно поделиться с кем-нибудь тем, что он только что обнаружил. И хотелось тут же вернуться назад, чтобы ничего не пропустить такого, чего уже никогда не увидишь. Необъяснимое чувство

дикого восторга и отчаяния, что он видит, а больше никто не видит и не знает, знакомое Жене с того раза, когда он встретил летящий на свободе в лесу рой, захватило его, и он растерялся, как там, в поле, не зная, что делать.

Обычно рои вылетают на заранее намеченное место. Сначала идут пчелы-разведчицы и тщательно выбирают себе будущее жилище, обследуя и примечая его. Выставляют у входа сторожей, чтобы никто не занял их нового дома, — то ли это будет свободное дупло с еле приметной норкой выбитого сучка, то ли расщелина в скалах, а то и обыкновенный крючок телеграфного столба с белой фарфоровой чашечкой, если нет ничего более подходящего. Таких мест у новой семьи может оказаться несколько, и здесь ты не угадаешь, куда они полетят и где обоснуются окончательно. Чаше всего они сначала садятся где-нибудь поблизости, на время, для передышки, и развилка могла оказаться только пересадкой, местом окончательного сбора, промежуточной станцией. Как у космонавтов — орбитальной. Соберутся они все, сколько может выйти из улья, осмотрятся-обсчитаются и, если погода разрешает, снимутся лететь дальше, в окончательный рейс.

Погода позволяла, и Женя, подумав о том, что рой может сняться и улететь, остановился и круто повернул назад.

Можно было подумать, что случился пожар. Так он влетел во двор, толкнул дверь в сенцы и схватил ведро с водой. Да то и был пожар, живой пожар. Мальчик принялся гасить его.

Примчался в сад с ведром и веником в руках, увидел «бородку». «Бородка» висела на месте, она все так же вязалась крючками вытянутых лапок под развилкой ветвей, от нее все так же отваливались серые ломти пчел. Кольчужка укорачивалась, а в стороне, в небе, темнела свежей густотой тучка из пчел. Схватил ведро, стал безумно махать в воздухе мокрым веником.

Махать руками перед пчелами нельзя. При пчелах вести себя нужно смирно. Знал о том и Женя. Пчеле, наверное, тогда кажется, что на нее нападают. И если даже какая сама стукнется о твой большой нос — замри! Статуйей сделайся! Тогда она облетит вокруг, обследует лицо и уши, и затылок заодно, и особенно глаза,

пожужжит-пожужжит — что за каланча оказалась на дороге? — попугает, подержит тебя в напряжении и отойдет, как и всякий из нас при случайном недоразумении.

Когда выходит рой, махать руками не запрещается. И веником махать можно, окуная его в ведро с водой. То есть делать искусственный дождь. Пчеле, должно быть, в таком случае кажется, будто это природа. А против природы не пойдешь. Против природы пчела не идет, она — не человек. Она хоть и не мудра так, как показывают себя другие соседи по общему дому, живет в согласии с нею, с природой.

Наоборот, махать, когда вылетает рой, полезно и необходимо, чтобы посадить рой, удержать его у себя.

Женя махал веником, вода пылилась в воздухе, оседала на лицо. Яркая радуга водяной пыли то и дело вспыхивала многоцветным коромыслом над его головой.

Морось садилась на сухие крылышки. Серые точки пчел лепились в кучу. Темный косяк под развилкой величиною с хороший сот пух на глазах и удлинялся. При каждом взмахе веника колыхался воздух. Ветка с пчелою тяжело оседала к земле.

Вода в ведре кончилась, побежал за другим. И когда бежал, все думал о косяке пчел — уходят или садятся? Вернулся — увидел, что лёт увеличивался. Пчелы, видимо, чуяли какой-то подвох и становились на крыло, как только стихия утихала. Тогда он снова бежал за водой и махал веником. Было такое ощущение, будто произошло солнечное затмение.

И вдруг опять развиднелось и проглянуло солнышко. Отдельные точки еще чернели хаотично в небе, решая, то ли пристать к остальным, то ли вернуться назад, в улей. И, поблуждав над садом, исчезали в направлении колхозной пасеки.

«Как там дядюшка Тихон?» — подумал Женя.

Гул стихал, серый косяк под листьями развилки успокаивался. Звон утихал. Тишина восстановилась. Не верится даже: столько пчел висит, а тихо. Лишь чуть заметный шелест исходит от клуба. Как от дальнего леса. И то — прислушаться надо. Женя намочил хорошенько веник, окуная его несколько раз в ведро, стеганул по клубу. Хлестко, точно кнутом. Легла на черепичную крышу крыльев водяная полоса, и рой

сжался от удара. Как ежик, если его тронешь. Хлестнул еще и еще с разных сторон для гарантии, бросил ведро и веник. Только теперь почувствовал, как устал. Отмахал веником, точно смену отработал с отцом на комбайне или на току во время жатвы. Мокрый, сел на землю. Смахнул рукавом со лба пот с дождем.

Босые ноги не узнать, все в ссадинах и грязи. Мокрые штанины жестким брезентом взялись. Кровь на руках. А боли никакой. Как оно бывает в горячке.

Глянул под навес из ветвей — сердце екнуло.

Внизу, под развилкой, плотной тяжестью покойно висел клуб пчел. Ветка отошла от места и показала клочок неба. Пчелы чуть слышно шуршали крылышками. Из клуба исходило глубинное тепло. И не было на свете ничего отраднее того тихого пчелиного шелеста, того солнечного медового тепла, что исходили из клуба.

19

Рой сидел на ветке, Женя — у ветки. Только теперь он понял, что очутился на привязи. Выглянул на улицу, вернулся посмотреть, висит ли его живая корзинка, вязанная искусной спицей из пчел, и снова вышел на улицу.

Синела внизу крутыми извивами Красавка; желтел на привязи тупомордый бычок. Белели на траве гуси. Гуси слетали с косогора и шлепались, мгновенно тормозя, прямо на воду, и громко били волну крылом, и гоготали. И хоть бы где живая душа! Гуси отражались белыми лебедями в синеве воды, и окунали головы, сложив их искусно ладошкой с шеей, и черпали воду, и выплескивали ее себе на спину. Капельки воды тяжелыми градинами скатывались по глянцевым и плотным перьям.

Наконец объявилась живая душа. Кошелев Сергей Гаврилович. На деревне его звали Пузырик. И если спросит кто, где живет Кошелев Сергей Гаврилович, каждый поведет бровями. Скажешь — Пузырик. «Ну, так бы и говорил!» — ответит и тут же подробно растолкует, как отыскать его двор.

Пузырик шел от магазина, нес что-то на плече и в руке. Увидел Женю, крикнул издали:

— Жень, подсоби...

Мальчик забежал сзади и, когда подтягивался на

носках, помогая переложить мешок на другое плечо, услышал неприятный запах.

Пчела не любит резких запахов. Делая основу спирта, она враг ему. И Женя подумал, как Пузырик занимается пчелами и что у него за пчелы, если даже человека воротит от самогонного перегара.

Женя отстал немного, чтобы ветром сносило. «Ну что ж, можно, конечно, и помочь», — рассуждал Женя, уже неся узел. Он даже сам не заметил, как тот узел — целая наволочка! — очутился у него в руках.

Ворковали где-то на дороге, за посадкой, горлицы, стучал хирургическим пинцетом дятел — не кончил смену.

Помогать всегда нужно, на том жизнь стоит. Тащит Женя узел, а зло берет. Он даже сам не знает, отчего берет зло. И оттого что не знает, неловко себя чувствует. Вроде и помогает, а неловко ему. Не с чистой душой помогает.

Нести не близко. Пузырик живет на окраине. Дом у него «на пять комнатей», как он сам любит говорить; крыша под серебро покрашена. И забор с ножами. Жене приходилось видеть поверх заборов колючую проволоку в три, а то и в четыре ряда. Бывают каменные заборы с осколками стекла, вделанными в сырой цемент. В кино показывали заборы с электрическим током в лагерях смерти. Но заборов с ножами навряд ли никто еще нигде не встречал. Снял с жаток длинные ножи-стригунки полового железа, укрепил сверху забора кружевной оторочкой из обоюдоострых угольников!

За тем забором стадо скота. И кур с утятами косяк добрый. И гусей, как вечер, белая цепь от самой речки до ворот протянется. За теми угольниками из ножей стоит пасека. Только той пасеки Женя не знает. Забор с ножами не даст разглядеть. Вот момент теперь глянуть! Занести куль с сахаром прямо во двор. А куль тяжелый, Женя еле плетется. И как подумал, что тащить ему аж на самый край деревни, остановился:

— А рой как?

— Какой рой? — выворотил шею назад Пузырик. Заморгал безресничными глазами.

То шел, вроде не замечал Женю, а то остановил-

ся. Лицо взялось розоватым отблеском пота, на руках налились жилы. Из рта — самогонный перегар, а от волос одеколоном несет. Пузырик любит побрызгаться одеколоном.

Станный человек: какие же могут быть рои, кроме как пчелиные!

Свернул к Жениным воротам, свалил мешок на скамейку. Вслед за ним и Женя подсадил наволочку коленом на скамейку. Белые крупинки сахара просыпались из шва. Бросил наволочку, пошел за Пузыриком в сад. Увидел свернутого «ежика» — немного успокоился.

«Ежик» держался в развилке, чуть слышно шелестя крылышками. Ветка, отойдя от дерева, кренилась к земле.

— Не иначе мой!

Когда Пузырик сказал «мой», Жене стало почему-то неловко. Даже неприятно. Будто что украл чужое. Он как-то до сих пор не подумал, чей это рой. У него даже не возникало такого вопроса. И теперь немного опешил.

— Недосмотрел! — досадовал Пузырик.

Неприятно Жене было не оттого, что он посчитал рой своим. Все то время, пока он махал веником, бегал за водой, Женя не думал, что делал. Как-то само собой получилось, что он посадил рой. Стихийно. И когда, мокрый, сел передохнуть, перед ним встал вопрос: зачем ему рой?

Ничейные рои и есть ничейные — бери, пользуйся, если есть охота. Но в этом приобретении было что-то такое, что не давало спокойно пользоваться находкой. Не с неба же он свалился! Пчелы же чьи-то? И у него с самого начала не было сомнения, чьи это пчелы. Теперь же озадачился.

— А все из-за работы, будь она проклята! — ругался Пузырик.

Нигде он фактически не работал. Так, числился за конюшной. Сходит когда, возьмет лошадь, если понадобится, — вот тебе и вся работа. Пузырика слушали на правлении.

— Все по командировкам приходится мотаться!..

«Мотался» он вовсе не по командировкам, а в город. Правда, всем говорил, будто ездит по заданию. Да на селе ничего не утаишь.

— Ты дежурь, а я счас! — побежал со двора, гремя сапогами. Даже сахар бросил.

Женя остался один. Сел на траву, обхватил руками коленки. А на душе приятно. Он даже удивился, отчего так. И как поднял глаза, понял, что это — рой. Никогда мальчик не думал, что вот так может быть от простых пчел. Положил щеку на колено. Так и сидел, глядя на серый комочек через прищур глаз.

Хорошо было не потому, что рой сел у них в саду, и тем более не оттого, его ли это рой или чей, приятно было оттого, что он есть. Вообще есть. Этот шуршащий крылышками комочек. На свете есть.

И все же было не по себе. Как-то непонятно саднило душу. Тяготило сердце.

Пузырик вернулся, а Женя все так же сидел завроженно, обхватив ноги руками, положив щеку на колено. Пузырик пристроился рядом. Облокотился на роевню. Принялся закуривать.

— Взятки нет, вот она зря по полю и мотается.

«Взяткой» Пузырик называл взятку, и жаловался он на то, что земля вся распахана и нет пчеле той свободы, какая была при ковыльном раздолье.

— Раньше что? — спрашивал он и сам же отвечал: — Посуды такой не было, подкорма не знали. И техника не та, а меду не успевали отбирать...

«Посудой» он называл ульи, «техникой» — распаханное поле, а «подкормом» — сахар.

— Вот мой прадед восемьдесят дуплянок имел, — продолжал Пузырик, сунув сигарету в рот.

Чиркнул спичкой. Рассосал огонь, пыхнул дымом. Женя отшатнулся в сторону. Облачко едкого дыма достало «ежик». Рой отозвался недовольным рыком.

— Найдет подходящую ракуту, где трухлявиной сердцевина попорчена. Поставит на костерок. Так, чтобы через трухлявину огонь проходил, как через дымоход. Нутро выгорит до нужной толщины, переносит на точок. Сверху снопом соломы накроет, снизу ямку выроет.

Он затаился дымом, и Женя снова отшатнулся назад.

— Глянет через время под низ — тянут. Копают глубже, чтоб сот в землю не упирался. И так несколько раз в лето. А потом обрежет печатку и в ведро. По кадке брали с одного места. Вот тебе и вся работа.

Бросил недокурок — шаткой ножкой встал из травы дымок. То не пчеловод, говорил дядюшка Тихон, у которого табак на губах или спиртное. Пчеле нужна улыбка на устах. Женя вспомнил эти слова и подумал, как бы сейчас было хорошо и как было бы все, как надо, если б вместо этого курца оказался он, дядюшка Тихон.

— А почему? Лугов больше заказных оставляли. Земле передых давали. Воскресенье. И химии такой не было. На химию пчела не идет...

Дядюшка Тихон «химией» называл совсем другое. «Химией» он называл даже не тот учебник, который Женя получил впервые. «Химией» дядюшка Тихон называл перегонку сахара на мед. Женя вспомнил пасечника и то, как он говорил о настоящей «химии», то есть об удобрениях и протравах, сказал его словами:

— При уме химия не помеха, а помога.

Пузырик захлопал безресничными глазами. Но тут же поднялся:

— Покурили, и баста.

Рой уже усиделся хорошо, блудная пчела отошла, и можно было приступать к работе.

Сначала они вынесли из пунечки стол и скамейку. Затем сходили в погреб за лестницей. Стол они установили под развилкой, скамейку — сверху и чуть в стороне. Женя взобрался, как циркач, на пирамиду, Пузырик подал ему роевню.

Роевня оказалась легкой, она пахла свежим фанерным деревом и была похожа на удобный кошель. Это была та самая роевня, которую Женя видел уже в лесу. Разогнулся осторожно, чтобы не тронуть листья, подвел, примеряясь, кошель под «ежика».

А Пузырик лез в это время по лестнице и торопился. Руки его дрожали, дрожала и лестница. Яблоня пошатывала ветвями, каждый толчок сапога отзывался беспокойным вспыхиванием крылышек. Клуб стал распухать и колыхаться длинным подвижным языком. Женя повернул голову, увидел, как Пузырик крепко держится руками за лестницу, а ногу отставляет вбок, чтоб до ветки дотянуться. Примерился и, закрыв глаза, как ухнет сапогом — ветка не выдержала у ствола и обломилась. Пошла вниз, на голову мальчика, шлагбаумом.

Погорячился, конечно, Пузырик. Чтобы сразу в

кошель один, а то и целых полтора килограмма меда ввалилось. Того, что пчелы взяли себе в дорогу перед вылетом на новое место. Не искусственного, не экспрессного, как ему уже придумали научное название. А проще — не поддельного, без экспрессных выдумок, а натурального. Шутка сказать: если по-честному, на совесть, без сахара, то пчеле за килограммом меда нужно долететь до луны, а то и дальше! И отведавать миллион цветов! Попробуй добраться до нее, Луны! Попытайся перебрать миллион цветов! Запутаешься в космических величинах. А тут — даровщина! Как не погорячиться.

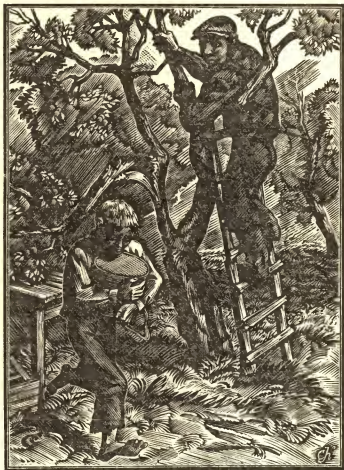
Погорячился — загубил дело. Не рассчитал силы. Думал, потрянешь крепче — попадет больше. Прямо в кошель. Ан нет.

Когда трусишь рой, пчела падает вниз на жало, стрелочкой, и сразу прилипает к телу. Вонзается. С ходу. Точнее — с лету. Стрелочка та, если взять под увеличительное стекло, похожа на гарпун с зазубринами в одну сторону. Или на рыболовный крючок: войдет в мякоть — назад не выдернешь. Только зазубрин тех не две, как у крючка или гарпуна, а целых восемь, а то и девять по каждой стороне грани. Только гарпун или крючок — железо, мертвое железо, а жало — живое, с мышцами. Мышцы сокращаются, зацепы входят глубже сами. Даже если пчела оторвется, обреченная теперь на гибель, мышцы работают еще почти до получаса самостоятельно, вгоняя жало. Положи отделенное от пчелы жало на ладонь — само войдет. Знает — куда! Такие у него хитроумные механизмы.

Те механизмы сдавливают одновременно и пузырек с ядом. Он тоже отрывается от пчелы, которая гарпун вытянуть ни при каком случае не может. Выходит что-то наподобие медицинского шприца. Только шприцем колют раз, а тут беспрерывно.

Десятки стрелочек полетели на голову и плечи Жени, впутались остервенелым зудением в волосы. Такой боли мальчик отродясь не испытывал. Будто в него метнули ножи и они вонзились остриями в тело да так и застряли, колыхаясь.

Ему приходилось видеть на экране корриду. В быка швыряли дротики, и он ярился. Метался по арене, а дротики колыхались и причиняли нестерпимую боль.



И чем больше он ярился, тем сильнее была боль. Что-то подобное происходило и теперь. В него метнули дробтики, они вонзились остриями глубоко в тело, и он побежал прочь неведомо куда, причиняя себе тем самым еще большую боль. От движения мышц жало тоже входит глубже.

До поздней ночи, пока совсем не стемнело, сидел Женя в воде подальше от глаз, прячась в камышах, и вытаскивал злые колючки. Не знал он, конечно, что спастись надо не холодом, а теплом — горячее при-

кладывать. Зато уже хорошо знал, запомнил, как под-
девать жало: ногтем со стороны. Природа и здесь пре-
дусмотрела, она ведь рассчитывает на невежд, знала
она, природа, что ты сразу кинешься тащить жало дву-
мя пальцами. А жалу только того и надо, чтобы ты сда-
вил мешочек яда, как медицинскую грушу с наконеч-
ником, вонзенным в твое тело, выдавил остатки.

И все же не сразу бросился бежать Женя. Сначала
он втянул голову в плечи, как от удара. Сжал до хруста
зубы. Потом захлопнул крышку роевни, схватил ее,
полную жал, в обнимку с ней соскочил на землю. Пу-
зырик остался на лестнице с открытым ртом. Заморгал
безресничными глазами. Потерянные пчелы выпутыва-
лись из травы и обманно кружились над его волосами,
пахнувшими одеколоном.

20

Если бы кому довелось теперь увидеть светлого-
лового мальчика со щеками, похожими на розовые
яблоки, никто бы в нем не узнал прежнего Женю.
Веки его водянисто зарозовели и сошлись, сомкнув
свет. Когда надо было посмотреть, мальчик раздирал
веки пальцами. Так и ходил с приставленными к лицу
руками.

Впрочем, ходить ему было особенно некуда. Рой
стоял у дядюшки Тихона в зимовнике, в школе про-
должались каникулы. Рой охлаждался, остывал и Же-
ня. На пасеке его могли видеть лишь пчелы. Но им бы-
ло, кажется, безразлично, какое у мальчика лицо. Пче-
лы не замечали его. Они все так же пулями выстрели-
вали из-под ульев в небо, падали, отяжеленные некта-
ром, на прилетную доску.

Байкал вначале не узнал мальчика и сдуру залаял
во все горло. Но все загладил тут же хвостом.

Однако деревня есть деревня. Тут ничего не ута-
ишь. Грош заведется в кармане — не скроешь. И в
крайней избе знают, какие нынче щи на другой сто-
роне деревни. Слух о том необыкновенном «ежике»
прошел из края в край, и ребята прибегали смотреть
ту героическую развилку всей улицей, а вожатая Валя
приводила в сад отряды и даже занесла рой в свои
отчеты.

Она часто заносит в свои тетрадки, казалось бы, не такие уж важные события. Подчас и на каком-нибудь мероприятии сидит с блокнотом в руках, как газетчик.

За ночь глаза Жени немного отошли, и он мог смотреть теперь, высоко задирая подбородок. И водил не глазами, а головой вместе с туловищем, будто на него наложили гипс.

Они сидели на скамейке под навесом. Не играли в шахматы. Не слушали радио. Дядюшка Тихон сложил сухие кулачки перед собой, Женя подтянул колени. И хотя у него болело тело, на душе было светло и отрадно.

Отрадно было оттого, что там, в прохладном подземелье, тяжелело медовым весом в межрамье живое чудо, ожидая переселения в улей.

К вечеру, когда в саду легли от яблони до яблони тени и в лицо дохнуло от кустов первой свежестью ночи, они затесали четыре колышка, забили их в землю на свободном месте, расширяя пасеку. На те колышки поставили новый улей. Тот, что они мастерили вместе, считай, пол-лета. Жене было приятно видеть в веселом теремке и свою работу. Установили улей на колышки, откинули прилетную доску на шарнирах. Новый домик хорошо вписался в архитектуру пасеки.

Потом спустились в омшаник. В омшанике было прохладно и темно, как в густом лесу. И сыро. Шуршали где-то, как дальние деревья, пчелы. Дядюшка Тихон посмотрел на роевню.

«Роевня новая».

«Новая», — согласился мальчик.

Помолчали, слушая приглушенный звон.

«Та самая?»

«Она», — ответил Женя глазами. Ему уже можно было говорить глазами.

«Надо будет отнести», — глянул минутой позже на мальчика.

«Хорошо», — ответил взглядом Женя.

Дядюшка Тихон приподнял крышку — толстый слой мха покрыл стены. Мох был живой, дышащий. Подрагивала в полутьме серая шелуха крылышек. Пахло медом и клейкими тополиными почками. В зимовнике пчелы немного поостыли. Пересидели. Прохлада их здорово успокаивает. Осядут — сразу за дело

возьмутся. Несколько рам оттянут, заложат ячейки расплодом. Такая у них сила. Порыв к новой жизни. И здесь следует не зевать и припасти вошины.

Бывает, выйдет малый, в кулачок, рой, привьется где на прутик и качается грушей или яблоком на дереве. И пчеловод озадачен: куда его? Такие остатки вылетают после первого или второго роя, как сойдет вся лётная пчела. Непродуктивный, значит. Женя посадил рой килограмма на четыре, и Тихон Чуприн повел мальчика посмотреть опустошенную семью. Страшно было глянуть, что там осталось.

Тихон Чуприн стал браться за роевню. Женя опередил его. Взялся за пояс — руку приятно оттянула живая, дышащая теплом тяжесть. Бережно, чтоб не стукнуть, вынес на волю.

Короб пчел плавно плыл над цветами и травами, не выше и не ниже, а так, чтобы ни за что не зацепиться. Тихон Чуприн, прихрамывая, поспешал следом.

Мальчик поставил роевню рядом с ульем, дядюшка Тихон принес несколько рам суши и вошины. Опустил в роевню. Пчелы были смирными, ручными, хоть в ладонь собирай. Они крепко держались на стенках в оцепенении, мелко подрагивая крылышками. Но, потревоженные, начали расшевеливаться. Можно было только удивляться взаимопониманию пчелы и человека. Лишь только в роевню поставили рамки с сушью и вошиной, пчелы друг за дружкой потекли ручейками на соты. Будто ждали того, чтобы им поставили рамки с сушью. Потекли — уселись. Уселись — обосновались. Как тут были. И во время этого великого переселения можно было регулировать их движение, точно на перекрестке. Женя приставил к рамке палочки, и те пчелы, что оказались на дне роевни, полезли по мостикам в новую жизнь.

И все же несколько штук опали на землю. Мальчик подобрал их, посадил на рамы и понюхал руки. Руки не пахли ядом.

А Тихон Чуприн, подождав, пока пчелы перейдут на соты, начал переносить рамки в улей. И когда закончил дело, спустился к пчеловодному домику. Долго возился там в потемках, не зажигая света, чтобы не привлечь пчелы. Вышел с баночкой краски и кисточкой в руках. Кисточку он, видно, состряпал на ходу, отделив несколько шерстин Бровкиного хвоста, который,

по мере того как отрастал, тратился на покраску ульев.

Вернулся назад, стал перед ульем на колени. И, стараясь изо всех сил, чтобы не дрогнула рука, стянутая шрамами, вывел крупно на лицевой стороне домика, выше летка, четыре буквы:

«Ж Е Н Я»

21

С утра привязалась песня, и мальчик весь день бубнил ее себе под нос. Вышел из-за кустов, точно из-за кулис, остановился, пораженный цветной рябью пчелиного города. Ульи весело проглядывали в зелени сада.

Женя остановился и поискал между ульями синий халат. Дядюшка Тихон возился около желтого улья, сетка закрывала ему лицо — недобрый признак. И Женя притих со своею песней, и подошел тихо сзади, и заглянул через плечо. Тихон Чуприн почувствовал присутствие мальчика и разогнул спину.

Было и раньше: не придет мальчик и ему была уже не работа. Нет его — и самочувствие не то. А явится — туча отойдет, и он улыбнется глазами. Улыбнулся дядюшка Тихон и сейчас, через сетку, улыбка была усечена досадой.

— Жарко, — сказал невесело.

Стояла жара, пчелы высыпали из ульев наружу шершавыми наростами, бородами висели в безделье у прилетных досок. Тяжело дышали. Пчеле легче быть калорифером и поднять температуру, чем погасить ее. Она, как люди, больше тепла добывает, чем холода. И если не справляется как холодильник, что может сказаться уродством на потомстве, то вываливает беспомощными кучами на воздух, покидая жилье.

В такую пору несколько штук становятся в ряд вентиляторами на прилетной доске. Выстроятся друг за дружкой в несколько эшелонов, вытянут задние лапки, задрав брюшко, упрутся и включают крылышки. Гонят воздух струей в улей с такой силой, что гаснет спичка, если поднесешь.

Что за чудо те две пары крылышек — одно побольше, другое поменьше, — сочлененные крючочками-за-

цепами, что могут нести пчелу наравне с машиной, или повернуть ее под любым углом лучше руля, или мгновенно затормозить и остановить в подвешенном состоянии над цветком похлеще всякого вертолета! И тут бы нам пришлось занять несколько страниц тем, как пчела, подрагивая крылышками во время танца, указывает направление и отдаленность до взятка, как подает крылышками радостные или тревожные сигналы, как подметает ими же пол. Пол, конечно, подметается не крылышками, а воздухом, как пылесосом. Только от себя.

Бывает, выстроятся они в шесть, а то и в целых девять — двенадцать строчек на прилетной доске в жаркий взяточный день, набычат головы, задерут брюшко и гонят поток воздуха в улей: там, внутри, в тенетах сотовых ходов, зреет мед. Напиток цветов. Мед ведь тоже, как вино, зреет солнцем и теменью подвала. Но зреет он не сам. Его доводят те же чудо-крылышки! Разложат нектар по крохам на полочках-ячейках для проветривания и усушки, перекалывают из ячейки в ячейку и массируют в челюстях, обогащая ферментами. Вдохнешь такого воздуха — густого бальзама, — опьянеешь от целебного настоя.

Пчелы стали цепью в ряд и выставили свои вентиляторы с мерцающими кругами крыльчаток, и погнали в улей воздух, и все было как должно быть, только не было того особого элеваторного гудения, которое можно слышать во время жатвы. Не было и того медового духа, что стелется низами по земле вокруг пасеки во время взятка.

— Ветер сухой.

Сухой ветер — значит, в природе нет выделений. А нет выделений — состояние не то. Женя знал, что настрой пчел передается людям, как настрой человека, наверное, пчелам. В природе благодать, влаги и тепла вдосталь, и пчела такая деловитая, что ты ей вовсе не помеха. Сядет на руку передохнуть от дальнего пути, подышит-пошатает брюшком, разогреет моторы-мышцы. Возьмет частичку твоего тепла, особенно по весне, когда его еще не хватает, и того тепла хватит ей дотянуть до улья. А стоит объявиться холоду или жаре или резко оборвется взятки — на пасеку не заходи: изгрызут. Будто ты виноват. Они липнут к рукам, зудят по одежде, и та дрожь передается в самое сердце, и ты

уже весь не тот, и если что делаешь, то спешишь и не так делаешь, и это раздражает пчелу еще больше, и она уже начинает сечь. Так одно за другое и заходит. Человек ведь тоже, если в природе благо, цветет. А если что не так — мрачнеет и обозляется. Чахнет.

Пчелы тянулись за рамкой цепочкой, и срывались с мест при движении рук, и впивались в тело. Тихон Чуприн был весь в напряжении. Стукнул второпях рамкой — сразу передалось пчелам.

Он проверял запасы кормов, лицо его все больше хмурилось: такие семьи раскочегарили — а тут безвзяточье. Поднял забрало сетки, недобро посмотрел на солнце, затянутое желто-горячей дымкой.

Нет большего друга жизни, чем солнце. Но нет и большей беды, чем от того же друга. И наши отуманенные незнанием предки падали перед его горячим ликом на колени, как падали перед дождем, заливающим посевы, как падали перед всем тем, что не могли одолеть разумом. В природе, должно быть, каждая вещь имеет две стороны — лицевую и оборотную. И все зависит от того, какой стороной обернется она — добром или злом.

Тут села ему на козырек сетки пчела. Вытянула задние лапки, подняла брюшко. Заработала крылышками. Нашлась добрая душа. Заработала веером, опухивая лицо.

— Ишь ты, — сказал Чуприн.

И напряжение в руках снялось, и движения стали осторожней, скупее, а душа мягче, и это передалось пчелам обратной связью, и они дали досмотреть улей.

22

Выкинет какая старуха сундук, заводя полированную мебель, Тихон Чуприн и подберет его под улыбки односельчан. Люди, видно, считали, что старый свихнулся — зачем ему рухлядь? А ведь каждый ленился подумать, что эта штукавина как раз хороша от мышей и восковой моли. И нет лучше посуды для суши и кормовых рам, чем эти старинные, наглухо пригнанные доска к доске сундуки.

Он свез эти «гробы» на пасеку, установил в темной половине пчеловодного дома, точно саркофаги

царей в соборе — хоть экскурсантов пускай. Да никто в тот склад суши и медовых рам — обязательный запас на каждой пасеке — заходить не должен.

Тихон снял с гвоздика ключ. Открыл дверь — пьянящим духом воска, пыльцы и меда пахло в лицо. Приподнял крышку сундука, снял с жердин рамку. Передал Жене.

Рамка оказалась увесистой — сразу оттянула руки. Больше чем наполовину она была опущена белым налетом печатки. Крышечки воска надежно хранили святую кладь в каждом колодце ячейки. Как-то Анатолий Егорович говорил, что археологи нашли мед тысячелетней давности. Он не утратил своих свойств.

Женя надежно поставил рамку в ящик, взял вторую и так загрузил всю рамконошу и вынес ее на улицу.

Мальчик припомнил, как дядюшка Тихон в самое взяточное время отбирает лучшие из лучших, надежно запломбированные воском печатки, рамки и относит на склад. На него даже косятся иногда из ревкомиссии или сам председатель: куда, мол, понес? Для кого?

А он помнил, кому в зиму придется добавить, если семья не управится сделать себе заготовки с последнего взятка, или кого весной подкормить. Очень необходимо, оказывается, в жизни резерв. Каждый учебник пчеловодства указывает на запас.

Мальчик вышел из воскового склада и, скособо-чась, с ящиком в руке пошел в тень яблонь. Вернулся назад, а дядюшка Тихон стоит, замерев, над сундуками. Очнулся от забытья, начал выставлять рамы. То из посуды бабки Анастасии, то из кованого железа по дну ковчега тетки Феклы, то из ящика Анны Родионовны Плотниковой...

В тех ящиках хранилось приданое, а как пошла война и жены остались вдовами, а невесты бобылками, сундуки перешли в «музей» Тихона Чуприна за ненадобностью...

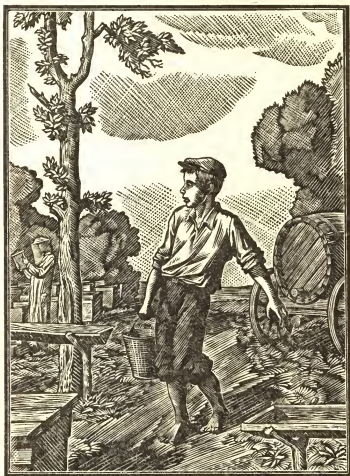
По сути, ящики, разрисованные когда-то веселыми красками надежд, померкли могильным бесцветьем и были уже прожитой, а есть и совсем не прожитой жизнью. Виднелись они Чуприну человеческими судьбами — то счастливыми, то обездоленными, и он держивался перед каждым, точно встречаясь с людьми.

Так они, запасом, подкормили пчел, и матки, почуяв прибыль, пошли сеять перламутровую рябь столбиков, и пчелы принялись таскать воду, и звон восстанавился.

Если кому сказать, что пчелы пьют воду ведрами, то в это еще и не поверят: не бык ведь и не лошадь. А между тем весною, когда сильно растет семья, и в жару такую, как сейчас, пчелы пьют воду не ведрами, а бочками. И Женя возил воду бочкой на колесах, и наливал поилку доверху, и пчелы, залепив на доске зигзаги ровика, по которому течет ручеек, набивались глубоко в норку краника, если он засорялся, лезли под крышку и даже устраивали настоящую толчею.

Отвернул смелее краник — чистая капель, скользая по крылышкам, как по черепице, зачастила на доску, вытолкнула из норки проныр, и они в панике, будто во время потопа, начали разлетаться прочь. Пчелы носили воду впрок, и прикрепляли ее серебряными росинками на сотах, и вентилировали улей, охлаждая гнездо, увлажняя воздух. В келье, где обитает пчела, микроклимат соблюдается в большой строгости. Возьмешь такую рамку с капиллярными росинками на восковых соединениях сотов, она тяжелее обычной — вот где ведро! И бочки!

Женя развернул Бровку, съехал вниз, на дорогу. Тупо застучали о землю копыта, зашелестели стертые травой до зеленого блеска железные шины. Бочка, мерно покачиваясь на рытвинах, захлюпала водой у самой горловины, заложенной большим четырехугольным чопом. Бровка, пошатывая головой, загремела уздечкой, прибавляя звону. Женя с разгону оперся на оглоблю ногой, сел сверху на деревянный чоп, закивал головой мерному, нетряскому лошадиному ходу. Воду он возил из живого, идущего на солнце родничка, пчелы летели навстречу. И оттого, что они шли навстречу, ведра становились легче, а руки проворнее. Свез одну бочку, поехал за другой. Начерпал полную живой водою, заложил люк деревяшкой. Сел сверху, повел глазами по горизонту. За логом работал на свекловичном поле трактор, хлопал выстрелами нездорового мотора.



— Ты зачем налил бадью? — спросил дядюшка Тихон, когда Женя подъехал ближе.

Рядом с поилкой стояла огромная посудина из дубовых клепок. Раньше это была кустарная медогонка. Дядюшка Тихон называл ее бадьей.

— Впрок, — ответил Женя.

Тихон улыбнулся глазами. И ту чуть заметную ухмылку перехватил мальчик: не-а, говорили лукавые глаза, земля не истощает водой. Небо иссякнет, а земля нет. На то она родилась вся в родимых роднико-

вых пятнышках. И только тут старый пчеловод понял, о каком запасе говорил мальчик.

— А верно,— подошел дядюшка Тихон и встал сзади,— пусть думают, что воды в природе вволю. Пчеле тоже психология нужна, вера. Без веры никто не живет. Она тоже должна верить в звон. Как мы. Это ты хорошо придумал. Только надо накрыть — пчела теперь на воду жадная. Полезет — гибнуть будет.

Женя смахнул рукавом пот, побежал за досками. Приволок старую дверцу от чулана, да тут обнаружил в бадье пчел. Пчелы приварились к мокрой кромке клепок цепочкой. Головами вниз. И пульсировали брюшком. И тянули хоботком воду.

Несколько штук, мерцая крылышками и разгоняя мелкую рябь, свалились в воду. Они кружились на месте, от них расходились во все стороны круги, подобные тем, что в учебнике физики изображают звуковые или магнитные волны. Женя поддел пальцем одну, выставил на солнце. Пчела осмотрелась: что за остров такой вдруг под ногами объявился? Отряхнула ворсинки, обогрелась чуток, взяв человеческого тепла, и взвела крылышки. Так она благодарила за спасение и, взлетев, сказала еще доброе слово звоном. А он стоял Гулливером над безбрежным океаном, и вытаскивал кораблекрушенцев, и бросал им щепки соломинок, и они вылазили на плоты и тут же, обсохнув, снимались вверх, заполняя небо, до самых его краев, благодарным звоном.

Женя смахнул со лба пот, глянул на дядюшку Тихона.

— Труден и сладок мед,— сказал тот и положил руку мальчику на плечо.

Вдруг насторожился весь. Снял руку, повел, как зверь, по ветру головой.

Он смотрел в ту сторону, где работал трактор. Трактор гудел сразу где-то за посадкой, неровный стук мотора глушил привычный звон пчел. Оттуда, где он гудел, несло едкими отходами выхлопов. К отходам солянки примешивались острые медицинские запахи ядохимикатов. Ветер повернул, трактор пошел на второй круг и опять принес те же недобрые запахи.

— Что он, сдурел!

В самую подходящую для роста пору, когда пахота разомлеет на солнце, а росток выпреснет двумя ле-

пестками крошечных ладошек из почвы, да и позже, когда побег-возьмет силу и пойдет вымахивать лапастыми листьями, встает на крыло свекловичный мотылек, внешне похожий на обыкновенную моль. Свекловицу он съедает подчистую, поля оставляет траурно-черными. Станешь идти по такому полю — кишит под ногами. Кому приходилось выколачивать меховую шубу или ковер, вконец загубленные молью, тот знает: ударишь палкой, а из-под нее рой мотыля. Второй раз ударишь — еще больше. И так, сколько ты ни ступаешь полем, все выколачиваешь и выколачиваешь, точно палкой из ковра, тучи полохливо порхающего, липнущего к лицу, прожорливого мотыля.

Трактор сходил еще раз на край поля, повернул назад, став, по звуку, бороздою ближе. Теперь уже видно было, как ветер гнал садом коричневый косяк ядовитого туманца.

— Не иначе сдурел! — Шатнулся назад Тихон Чуприн, но тут же схватил палицу, захромал вверх по склону яра.

Шагал он живо и не упирался сучковатой палицей в землю, а грозно размахивал ею в воздухе. Женя мигом обогнал его.

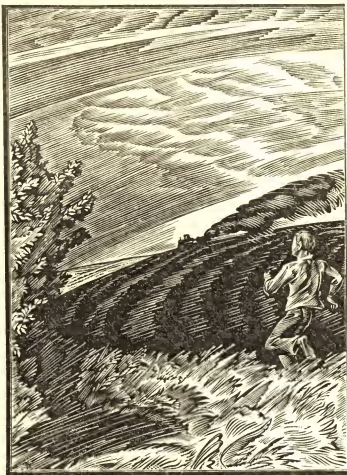
Небо горело жарким пламенем. Воздух казался раскаленным. Горло занималось огнем. Дышать становилось нечем. С трудом передвигались ноги. Там, где было совсем круто, руки доставали землю. Вышел из-за бугра — увидел трактор. Трактор двигался краем поля, у посадки, волочил следом за ним желто-ядовитый хвост.

— Стой! Стой! — замахал Женя руками.

Трактор шел тем же неверным ходом, прыскал желтизною. В кабине за стеклом мотался из стороны в сторону промасленный картуз. Болталось на передней фаре ведро.

Женя побежал рядом, подавая знаки остановиться. Дверца кабины отвалилась, в проем вывалился все тот же промасленный картуз. Под глазами грязные подтеки солярки. Глаза налиты пьянью.

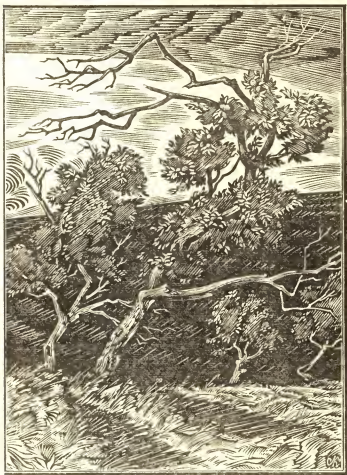
Это был Федотов, отец Витьки с Митькой, слабый на спиртное и крепкий на бранное слово да кулак мужик. По ночам, в виде профилактики, Курючка гонял по снегу вокруг дома жену и детей. Жена ночевала у соседей. Трезвый — не подойдет. А как нальется —



подавай Витька-Митька дневник. Начинается аз, буки, ведем...

Женя ничего не разобрал, что ему кричали. Бранные слова, а то что ж еще. Он видел, что трактор не сбавляет ход, а дверца захлопнулась. Перед самым носом, чуть не задев, захлопнулась.

Все дальнейшее произошло как-то само собой. Женя не помнит, как очутился перед гусеницами, встал на борозде, сжал кулачки. Кулачки он сжал для себя, конечно. Чтoб выстоять.



Трактор сыплет гусеницей — остро мелькают зубья захватов, отполированные землей. Ведро болтается на фаре. Набалдашник радиатора нарастает громадиной. И вдруг — тишина. Даже странно, откуда она взялась. То уши разрывало танковым грохотом, а то заложило ватой тишины. И в той тишине — мат. Отборный, крутой, аж небу жарко. Это Женя услышал хорошо. И очнулся. Курючка шел на него с гачным ключком.

Он шел, шатаясь, бороздою, красные глаза нали-

лись лютой ненавистью. Рука накрепко зажала гаечный ключ. Женя поднырнул под ведро, под фару, забежал с другой стороны. Отмотал поясok на пускаче. Махнул через поле.

Федотов кричал не зря: свекла гибнет! А у него план. Лапнул себя по животу раз-другой, забыл, что одевку теперь без поясков шьют. Мода такая пошла — трактор нечем завести. Махнул рукой, шатаясь пошел к деревне. За поясом пошел. За тем, что штаны держат да технику заводят.

В это время из лога выткнулась палица. Сучковатая палица остановилась у еще горячего трактора.

— Я б ему накостилял! — погрозились Тихон вслед Курючке.

Вернулись назад, остановились перед логом.

Лог раскинулся перед ними из края в край, цветные ульи стоят в зелени на местах, как прежде, пчеловодный домик притаился шиферной крышей — и ни единой черточки в небе! Тупо, мертво на земле. Как на необитаемой планете...

Дорожка из гиблой пчелы к улью, трава, набитая мертвой рябью. И в цветах, присыпанных невидимо-гибельным излучением, застывшие небытием крылышки... Дядюшка Тихон поднял крышку улья — серым пеплом осыпались на дно из межрамья хитиновые трупки...

Могильная тишина в улье, холодной осыпью бугорки на полу. И жуткая пустота. Все осталось нетронутым: ульи, рамы, мед в сотах, а только живое стало мертвым!

Дядюшка Тихон опустил крышку улья, и в могильной тишине осыпались вниз, на дно, еще несколько трупиков пчел. Тех, что задержались в рамах. Теперь уже наступила настоящая тишина...

На беду приехал председатель. Пчелам особого внимания председатель не уделял и в хутор, на пасеку, где третья бригада, заглядывал редко, только когда мед качают да когда что случится.

Машина волчком прошуршала в листве и, раздвигая ветки, сразу объявилась у домика. Тихон Чуприн в это время снимал хомут с Бровки, Женя сматывал вожжи. Бочка воды стояла рядом. Делали они все это молча, а будто разговаривали. Так могло показаться со стороны. Ладно у них все выходило. Гото-

вились они промывать пустые соты из погибших ульев и, когда прошелестела машина, не обратили особого внимания.

Когда едет Николай Федорович, головы не видно. Одно туловище. И руки на баранке. Управляющие руки. Когда он вылезает из машины, то сначала выставит ноги в огромных туфлях землистого цвета, затем обернется назад, возьмет шляпу. Наденет шляпу, тогда здоровается. И когда садится в машину, то снимает ее, чтоб не сбить. Бросит на заднее сиденье, берется за раму двери. Начинает трясти легковушку, нахлобучивая на себя. Машина, пружиня сопротивлением рессор, подавалась неохотно.

Николай Федорович вылез из машины, и она выровнялась на колесах.

Когда председатель приезжает на пасеку, он здоровается за руку.

Пасеку он называет «опыленческим цехом» и считает ее так не за мед, а за прибыль, что дают пчелы полку опылением. Прибыль, перекрывающую стоимость меда больше чем в десять раз. Еще он называл пасеку «службой опыления». Так он называл пасеку у себя в кабинете, при людях, на совещаниях.

Приедет на пасеку, спросит: «Ну, как тут наш опыленческий цех?» И протягивает руку. Здоровается.

В этот раз он не назвал пасеку «опыленческим цехом». Не подал руки. Он даже забыл взять шляпу. Скользнул по ульям беглым взглядом, чуть задержался на крупных буквах «ЖЕНЯ». Поставил брови, недовольно спросил:

— Ну, что тут натворили?

Спросил он громко, дядюшка Тихон поморщился. Он спросил так, будто дядюшка Тихон был в чем виноват, и Женя обиделся за своего друга.

— Плохие вести летят, хорошие лежат, — ответил уклончиво и не сразу Чуприн.

— А ты где был?!

Председатель, наверное, знал, что пасечник глуховат, разговор обычно начинал громко. Но потом стихал. Дядюшка Тихон ведь все слышал хорошо. Пусть не ушами, поврежденными контузией, так сердцем. И кричать ему не было необходимости. Он всегда отзывался душою. Тем более неуместно было повышать голос здесь, на пасеке.

— С посредственности списывается, со способности взыскивается,— ответил он негромко.— Оно сейчас легче посредственностью прикинуться. Жить легче.

Посмотрели друг другу в глаза, и председатель спросил мягче:

— Много погибло?

Дядюшка Тихон сказал:

— Две семьи начисто. Остальные — где больше, где меньше. Тот край задел сильно,— кивнул в сторону ручья.

— Он с утра, говорят, набрался.

— Дурное дело — не хитрое.

— Почти каждый день под мухарем.

— Да ему не привыкать,— согласился дядюшка Тихон.

— Мороки с ним предостаточно! — недовольно сказал Николай Федорович.

Было жарко. Председатель пошел к машине и надел шляпу.

— Сам кое-как работает и других размагничивает...— сказал Николай Федорович уже спокойным голосом и отошел в тень, под яблоню.

— Вот мы его — рублем!

— По детям.

Детей у Курючки много.

— А что я сделаю?! — озлился председатель, но уже не на дядюшку Тихона.— Кого посажу на трактор?..

Такие разговоры Жене знакомы. Техники в колхозе больше, чем людей. Механизатору цены нет.

Николай Федорович рассердился и, когда немного отошел, сел на край скамейки. Говорить было не о чем, и они помолчали, думая каждый о своем.

— Носят? — кивнул на улы председатель.

Редкие длинные полоски пчел вяло чертили небо. Летали они почти беззвучно.

— Носят,— неохотно ответил дядюшка Тихон.

— Из кладовой?

Сахар в колхозной кладовой Тихон Чуприн не брал, хоть временами приходилось туго.

— Дед Пашечка подкормил своих,— заметил Николай Федорович.

Дед Пашечка работал пчеловодом на центральной усадьбе, он соревновался с дядюшкой Тихоном.

— Подсилил,— продолжал председатель.

Дядюшка Тихон поморщился. Может быть, даже от боли. От шрама. А может, и нет.

— Погода откроется — он возьмет!

Женя недоверчиво, как дядюшка Тихон, смотрел на председателя.

— Он тебя перекроет.

Все это председатель говорил вроде укора. Дядюшка Тихон молчал, все так же склонив голову набок.

— Старик...— произнес Николай Федорович и переждал, пока отлетит пчела.

Сторожевая пчела встала у его носа. Она вроде чуяла недоброе отношение к своему хозяину.

—...старик,— продолжал Николай Федорович, хотя дядюшка Тихон не был стариком, и Женя косо глянул на председателя.— Ты ослабишь семьи к главному взятку.

Никто, конечно, не собирался ослаблять семьи к главному медосбору. Дядюшка Тихон просто держал на пределе. Спротивлялся искусственной подкормке, хотя она и способствует количественному накоплению пчелиных особей в улье. Как-то уж так пошло, что пчеловодение все больше начало брать перевес на сахар. И если раньше было — не передавивши пчел, меда не возьмешь, то теперь — не подкормивши пчел сахаром, продукции не получишь.

На этот счет старый пасечник имел свои соображения. В сахаре, как известно, всего три элемента, вместо почти восьмидесяти полезных веществ в меде. И все это не может не сказаться на пчеле и ее потомстве. На матке, дающей расплод.

— Моя пчела выдержит,— коротко ответил Тихон Чуприн.

И, сощутив глаза, глядя куда-то вдаль, добавил:

— На меду она.

Где-то за деревьями садилось солнце. От пыли руки и лицо казались масляными. Хотелось умыться. Открыть посильнее краник поилки, убрать наклонную доску с бороздками для ручейков, подставить голову, как это делал Женя после лёта пчел.

— Не искусственный выкормыш на сахаре.

Председателю это не нравилось. Он нахмурил брови. Посмотрел на машину.

— Ты что ж это гречу кинул за деревню? — выло-

жил наконец свою главную обиду дядюшка Тихон.
— Все как надо: ближе к пасеке,— отозвался председатель.

Теперь выходило, что наступление вел дядюшка Тихон, а оборонялся председатель.

— Пчела на дымы не пойдет.

По утрам хозяйки спешили управиться до работы по хозяйству, и солнце поднимало из труб розовые клубы дыма.

И тут у них разговор начал клониться к тому, к чему всегда клонился, и Николай Федорович собрался уезжать. Встал из-за стола, сгреб «ковшом» шляпу. Мальчик знал этот разговор. Простые расчеты. Посей ты, говорил Чуприн, вместо гектара свеклы медоносного шалфея, и всем будет выгода. И по деньгам если взять. Свекла против медоносов не справится. А по здоровью? По труду?

Председатель отмалчивался.

В самом деле, рассуждал и Женя, свеклу надо посадить, прополоть, потом выбрать из земли, погрузить на машины, свалить на станции, вагонами доставить на завод, переработать в сахар. От всего этого пчела освобождает человеческие руки. Все это она делает сама, складывая готовый продукт в улье. Бери, пользуйся. Дядюшка Тихон всегда стоял за то, чтобы сахара было меньше, а меда больше.

Николай Федорович направился к машине.

— Вот тебе три слона, на которых мир стоит: экономика, производство, мораль! — шел за ним, не отступая, дядюшка Тихон. — Оно, конечно, не до меда было. И сахар крепко поддержал в свое время: по шепотке выдавали в окопах, наперстком меряли, чтоб на победу вышло.

Председатель снял шляпу, взялся за ручку; дядюшка Тихон припер раненой ногой дверцу машины.

— Ныне другая победа нужна. Потому нашей жизни теперь иное качество дай. В меду оно.

Ответа, как и прежде, не было. Председатель снова надел шляпу от солнца. Посмотрел на пасеку. Задержался взглядом на улье Жени. Но ничего не спросил.

Правда, ответ был. Он давно был, ответ. И дядюшка Тихон вначале опешил: «Как это нет на то разрешения?!»

Вроде не понял. И понял. А то почему же потом, делая что-нибудь, вдруг остановится и задумается. Скажет:

«Ишь ты, нет разрешения!»

Работает-работает и опять скажет:

«Вроде на умное должно быть разрешение? В какие такие времена на умное надо было разрешение?!»

Будто сам с собой говорит, а выходит — с мальчиком.

— Да, слушай, — перебил Тихона Чуприна председатель. — Чуть не забыл главное: к тебе тут просится помощником Кошелев Сергей. Вижу, у тебя неуправка. Тяжело одному.

Давно известно, что Пузырик метит на пасеку.

— Все правильно: он специалист. У него диплом. Не как-нибудь, — дернул дверцу председатель.

Но места на пасеке не было, и Пузырик слонялся по колхозу, тыча каждому в глаза свой бесплодный диплом пчеловода. Особенно когда его прижимали за безделье.

— Его сюда только допусти. Он тебе насеет чертей в кружку... — ответил дядюшка Тихон.

Николай Федорович бросил шляпу на заднее сиденье. Взялся за дверь, стал нахлобучивать легковушку на себя. Сел за руль — машина стала наперекос. Захлопнул дверцу — отсек голову. Одно туловище да руки на баранке. Кинул, уже без головы, из салона:

— А насчет сахара я распоряжусь!

Завел мотор — рванул траву колесами. Байкал вытянул шею, проводил машину непонимающим взглядом. Подошел к следу, обнюхал траву. Затем поднял на след ногу.

24

Есть одно народное торжество, которое не знает ни один календарь. Оно не отмечено словарями и справочниками. О нем нигде не написано. А между тем оно есть, такое торжество. Торжество тучки. Обыкновенной тучки, что ползет по небу и то холодит землю, то притеняет духоту. И Женя задира мордашку, и кричал небу, и радовался, если оно слушалось: посылало или убирало тучку.

Объявится такая тучка в уголке неба — и пойдет

62

праздник по деревенским душам. Потому что за нею, тучкой, может показаться еще другая, а затем и та, главная, что и прольется долгожданным дождем. Такого торжества не ведает ни один городской житель. Ему просто этого не дано. И он сетует, что замочил ноги, что карниз пылит в лицо неприятной моросью, что не прихватил зонта.

Может, его, горожанина, не следует так строго судить. Не видит же он, как поднялся на четверть, порыжел и выкинул пустую метелку, не налив зерно, ячмень, как выгорают в лугах травы и сворачивается раньше срока на дереве лист... и как уже скотники на фермах волокут за ноги павший от бескормицы молодняк в ямы...

Впрочем, теперь почти каждый, где б он ни находился, выглядывает, если основательно присушит, урожайные облака. Так уж повелось: если в городе что случится — на деревне скажется. А если в деревне что не так — городу круто выходит.

Такая тучка появилась и размягчила заскорузлое засухой сердце старого пасечника.

А Женя бежал вприпрыжку полем между белевыми, преждевременно поседевшими и оттого принятыми овсами. Сумка, полная еды, оттягивала руку. Захватил покрепче сумку, зачастил ногами. Чтобы порадовать другого человека, без которого уже не могло быть радости. Женя не умел держать чувства в себе. Они сразу переполняли его. Да и что за радость, если она не прольется через край? Это уже не радость, а тяжесть.

Природа всегда тревожила его. Нет долго дождя — волнение; затянулись дожди — тоже беспокойно. Он боялся, чтобы в ней, природе, что-то не нарушилось. Объявилась тучка после духоты — изменился весь настрой души. Отступили тревоги.

Тихон Чуприн, напротив, ждал, что в природе должно что-то измениться: и месяц на ущербе, и «стрелочка» в бедре начеку. И соль смокрела, и цветы сильнее запахли. И пчелы не высовываются рано из ульев, гудят на прилетных досках особым звоном. Лягушки и те на болоте трубят во все горло: быть дождю! Пасечник все это знал, потому не стал портить ту радость, что вышла через край чаши, — ведь его радость в том, что есть другая радость. И полез сле-

дом за мальчиком по косогору выглядывать ту долгожданную тучку, упираясь палицей в землю.

Тучка, которую они бежали выглядывать, вышла из-за горизонта и проплыла над землею, и заглянула в лог — на беды, что там творятся без нее. И воспаленная жара опала, и потянуло прохладой. И пчелы задержали тяжелый гуд и прислушались.

Но откуда-то вдруг взялся ветер, подхватил живо тучку и погнал над логом дальше. Поманила редкими каплями, растравила пчелиные души. Отошла к лесу. И там, далеко за горизонтом, излилась проливнем, разметалась молниями, а на пасеку дошел скоро лишь знакомый небесный рокот.

— У людей как у людей, дождь идет, а у нас спины крутит,— с досадой сказал дядюшка Тихон.

Пчелы тоже, учуяв тучку, вывалили, обманутые, из ульев на прилетную доску и забеспокоились. И задирали, как Женя, как Тихон, свои глазастые рыльца, и вытягивали вверх хоботки — да напрасно. Ничего такого, что нужно, не увидели, хотя им и дано от природы по пять глаз на голову.

Беда за беду цепляется, чтоб цепью тянуться да крепче быть. Дядюшка Тихон подошел к улью — отшатнулся назад. Женя живо подбежал, но тут же по лицу дядюшки Тихона догадался, что с ним все в порядке, что это не поясница, не осколок, а что-то другое. Это другое остановило мальчика.

Пчелы выбрасывали детку, белые червячки расплода необычным летним снегом запорошили траву у прилетных досок...

«Все», — решил мальчик.

Есть в природе одно необычное явление, которое никак не может уложиться в человеческой голове и которое кажется нам не только чудовищно жестоким, диким, а и совершенно безрассудным, не логичным с точки зрения самой жизни, как она зародилась на земле: при голоде уничтожать детей, самое малое поколение, которому суждено держать будущее. В наших умах как-то навечно узаконилось, что прежде всего надо спасать детей, так уж заведено, что родитель прежде всего обороняет дитя. Жизнь на земле без этого оборвалась бы.

А между тем природа бывает логичнее нас. То есть рассудительней. Жестоко рассудительней. Без слезли-

вой сентиментальности, если вопрос жизни стоит самым серьезным образом. И пчелы выбрасывают малышей на гибель, чтобы сохранить взрослые особи. Личинку надо еще выкормить, пока она станет пчелой. А тем запасом корма, что пойдет на нее, можно продержат трудоспособную пчелу, пока в природе что-то изменится.

Это приспособление пчелы и есть та логика, что вызывает протест у человека, а на самом деле является не чем иным, как продлением того же рода.

25

Так объяснял Тихон Чуприн мальчику позже, когда все прошло, и пчелы взяли у природы любовь цветов, и выброс детки прекратился, и звон над землею был восстановлен. Теперь же, глянув, до какого истощения дошли семьи, спустился к домику и стал тесать веселку.

Веселка у него выходила равноялечая, с удобной для захвата ручкой из кленового дерева. И Женя думал, что с дядюшкой Тихоном что-то стряслось и он решил плавать. Но зачем ему такое маленькое весло?

Спрашивать не стал: само прояснится. То, что мальчик смотрел на мир своими глазами и до всего старался докопаться своею мыслью, подлаживало их характеры. А теперь и подавно. Тихон строгал, а мальчик сидел и смотрел молча. Этого было вполне достаточно двоим.

Мальчик смотрел, как мягко ходит звенящее жало топора по кленовому срезу, и заражался работой. Мысленно по срезу того же дерева ходила и его рука. И прежде было, возьмется за что пасечник, как тут же окажется мальчик. Пристроится рядом и повторяет его движения. И пасечник улыбается тому наивному подражанию молодости.

Взял Женя обрезок дерева, тот, что отбросил дядюшка Тихон, приладил рядом. Может быть, так, чтобы тот не видел. Сбоку или сзади. А то и в стороне. Не важно где, важно, что пристроился. Рядом. Приладил — забегал ножичком по кленовому дереву. Шмыгнул носом. Стал повторять движе-

ния. Если б только знал мальчик, как отозвался в другом сердце этот повтор.

— Что делаешь?

Лучше б не шмыгал носом. Лучше б потихоньку посапывал себе да неслышно тюкал ножичком.

— Что делаешь, говорю?— спросил Тихон Чуприн строго, хотя спрашивать надо было у него.

— Веселку,— ответил мальчик.

Отложил ножичек, изогнул дугой прутики бровей. Это размягло сердце старого пасечника.

— Зачем? — спросил он.

Вот зачем, мальчик решительно не знал. То, что у дядюшки Тихона выходит веселка, а не весло, Женя видел. А вот зачем — никакого понятия не имел. Неужто для меда? Так до меда еще далеко. Меда еще не видно. Да и до меда ли сейчас?..

— Хватит одной,— коротко сказал Чуприн.

И Женя понял. Понял, чем они занимаются. А то чего же тогда дядюшка Тихон налил воды в чан и затопил печь? Чего старательно затворил дверь, чтоб в дом не проникла пчела? Будто чем преступным занимался.

Нет, мальчик не знал, что бывает на пасеке во время подкормки пчел. Все это рассказывал ему дядюшка Тихон позже. Он только понял, что сейчас должно произойти: сахар лежал мешками в старинных сундуках вместо рам с медом, вода кипела в чанах. Веселка была готова.

Нет на земле большего боя, чем бой за существование. И пчела идет на бой, если во время такого, как сейчас, лихолетья объявится где случайная приманка. Надежда.

Сироп заготавливают для такого «производства» скрытно, сахарную смесь разливают в кормушки на ночь. Да как ни стараются искусно обученные теперь мастера медового поддела, пчела заранее разгадывает их зловещие замыслы. И бьет в плотно затворенную дверь. И липнет косяками у стекол рам. И метит, лютая, под сетку. В глаз.

Растревожилась густым нездоровым гулом пасека. То был гул обманутых надежд, а нет ничего страшнее, чем потеря веры. Начался разбой.

Пушистые комочки пчел возбужденно лепились у железных крышек ульев. Отдельные куски серого го-

лодного «мха» отваливались на землю и опять лепились у тех же мест. Но железной сетки у душинников ей не одолеть. И не было уже той силы, которая смогла бы остановить паническую стихию.

И вот они, вкрай отчаявшись, начали схватываться попарно, норовя пробить друг другу хитинный панцирь копьём жала. Схватились намертво, завертелись волчком на земле в невыносимом зуде крыльев. Какой это страшный звон! И с того места поднимается уже одна, а не две пчелы. И ни керосин, придуманный человеком, ни дым, ни огонь, встающий на пути пчелы, не может остановить ее. В бой за жизнь пчела идет насмерть!

26

Дядюшка Тихон выстрогал веселку и остановился: начинать или не начинать. Так трудно было ему решиться. Сколько раз приходилось в жизни решаться, а тут остановился. То ли слабее стал, то ли крепче: телом слабее, духом крепче.

На запах свежего дерева прилетела пчела. Села на белый срез, пошатала брюшком, вдыхая кленовый воздух. И пасечник дал ей усладиться вволю, и переждал, пока она слетит сама. Ведь села зачем-то. Задержала его. Не зря же она села?

Малая толика передышки уму, загруженному неусыпно мыслью, а передышка. И руке тоже. Ведь ничего не сделала — села на белый срез клена, пошатала брюшком, подышала, а помогла. И это тронуло теплом сердце, и глаза улыбнулись. Пчеле улыбнулись.

Он подождал, пока слетит пчела, и, когда она слетела, отложил веселку. Отложил он веселку потому, что пауза, которую дала пчела, сказала ему что-то. Тихон Чуприн посмотрел на пасеку.

На пасеке происходило что-то невероятное. Пчела начала выходить из ульев. Точно как на взятке. И все выходила и выходила на прилетную доску, и вздымала крылышки, и исчезала в небе, и... не возвращалась. Что за чертовщина! Куда ее несет?!

Вместе с мальчиком Тихон подошел к яблоне, стал так, чтобы не мешать лёту. И смотрел, как она валит из ульев, — и ничем ее нельзя было остановить и вер-

нуть назад. Как при разбое. Ее точно кто лопатой выгребал из ульев на прилетную доску, и она тут же поднималась в небо неизвестным звоном. И нигде не билась под железную крышку улья. И не осаждала сеточные душники. И не брала приступом плотно затворенную дверь, где уже перекипела вода. Неужели это тот, настоящий звон?!

Час прошел, другой, а они все так же стояли вдвоем и смотрели, как уходит пасака. В небо уходит. И не было тому великому движению конца. И нечем было задержать то движение. Пчела уходила искать себе лучшую долю, оставив домики пустыми. По всему было видно, что подалась она к лесу. Лес притянул ее. Он и так долго держал ее силы своими запасами влаги и если б не помощь леса, то уже давно раскрылись бы старые сундуки, а за ними развязались плотно набитые белым песком мешки, застроченные на заводе шнуровой нитью, привезенные из колхозной кладовой...

А может, они что-то отыскиали в лесу? Может, он, лес, что-то долго хоронил да вот и выдал, видя беду? Как Тихон Чуприн свои сундучные запасы. Держал-держал да и открыл. Ведь известно, что лес дольше всего способен сохранять влагу.

Но по времени пчелы должны были уже возвращаться из лесу. А их не было.

До позднего вечера, когда уже вовсе прекратился лет и оставшаяся пчела начала стучаться о ветки, следили они за пасекой и все больше теряли надежду...

И все же слабым далеким огоньком теплилась она, надежда, глубоко в сознании старого пасечника. И вера. В свою пчелу. На чистом меду вскормленную. И он отослал мальчика в дом, а сам пошел на пасеку. И хотя ночью дежурить было незачем, все имущество доверялось Байкалу, и он неплохо справлялся со своими обязанностями, Тихон Чуприн остался у пустых ульев. Знал: пчела не может летать по-темному, а остался. Бывает же на свете чудо из чудес: луна в полный круг света, яблони в белом соку цвета, ветви, набитые ароматом,— и медвяный звон над землею!

Пчелу сторожил пасечник, пасечника — мальчик. Так всю ночь и простояли друг у друга часовыми. Тот за яблоней, этот за косяком двери.

Байкал сладко зевнул, вытянув ленточку языка.

Луна, опаленная жаркими ветрами, смотрит на темные ворохи крон, выхватывая из кустов белые ульи. И тишина. Тупая необыкновенная тишина. Раньше можно было послушать звон и ночью. Точнее — шелест. Сядут рядом, слушают вечерний шелест ульев. Не было лучшей передышки перед сном, чем тот покойный шелест пчелиного пушка у летков. Нет лучшего средства от бессонницы, чем подышать медвяным воздухом, послушать тихий успокаивающий шелест пчел.

Теперь не было и шелеста. Остаток летной пчелы ушел в глубь ульев, обсев уцелевший расплод, согревая его теплом, летки зачернели пустыми прорезями.

Бывает же, что пчела остается ночевать в поле. Сядет на цветок, наберет нектара, а подняться от усталости или от старости не сможет. Дай, думает, передохну чуток. Тут вечер и зайдет.

Бывает и поздней осенью, когда уже начинают схватывать заморозки, идешь оврагом, видишь: шмель заснул в репейнике. А то и, если теплее, пчела. Женя видел таких шмелей в цветах. Подышишь на него — зашевелит лапками. Живой. И как пригреет солнце — очухается и слетит к себе домой. Может, и наши пчелы добрались до настоящей сладости, набрали столько, что не подняться, и остались переночевать. Чтob наутро с новыми силами вернуться назад.

Да так оно и было. Та тучка, что прошла в душном, воспаленном засухой небе, что обманно веинула надеждой-прохладой, что подразнила редкими каплями, что ушла бесследно, действительно разметалась молниями за лесом на клин гречихи. И когда сухоцвет хлебнул живительной влаги, туда полетели пчелы. Полетели, а к вечеру не управились. И заночевали в цветах.

Утром следующего дня, когда пригрело солнце, пчела пошла назад. Валом пошла. Будто кто лопатой ее греб с неба на точок. Тучей идет. Не поток пчел, а мед валит. И метит в очко, да не попадает. Потому что тяжела. Перегружена. С ней такое бывает во время взятка. Упадет в изнеможении на прилетную доску, еле дотянув, и тут же оживет, заработает лапками. И другая так. И третья. Лезут в улей, опережая друг дружку.

И выброс детки прекратился. И матка пошла се-

ять. И звон восстановился. Дядюшка Тихон схватил Женьку, чуть не забросил в небо! Где только и силы взял? Мальчик лишь успел взмахнуть в воздухе руками. Да то были уже не руки, а крылья.

27

Нет ничего прекраснее после большой жары, когда уже угрожающе присушило, нет ничего благодатней, чем живительный летний дождь с грозой!

Пыль на дороге, точно кто цемента насыпал; земля просит воды у неба, раскрыв широко трещины. Пчелы под ульем бородами.

Но вот показалась тучка. За нею — другая. А там и третья. И вот уже клубится, заполняя полнеба, не одна и не две, а целый гурт туч. И грозно мелькнули в сини туч ярко-желтые зигзаги молний. И пророкотал высокий гром. Гром был так далеко в поднебесье, что прошел слабыми, но яркими, несмелыми раскатами: истинно катится колесница, полная добра!

Густые тучи тяжело насаждают на землю. Земля потемнела ночью. Все затихло и притаилось. Блеснула молния, распахнув ширь. Молния распахнула мир так широко, что выхватила и белый набрызг зеленых яблок в темной листве, и заштукатуренные места дупел на плодовых деревьях сада, и сине-фиолетовые стены ульевых домиков. И пепельный извив реки, и чернь дальнего леса. И бледные лица под навесом.

И вот уже в листьях шевельнулся ветер, и где-то упала плохо приставленная доска. И схватился на дороге протуберанец пыли, и полетели неведомо где взявшиеся среди лета сухие листья. И повалила пчела.

Перед дождем пчела валит к улью скопом, забивая прорезь летка, и ни одна не идет навстречу. Как столпотворение перед потопом.

Шумит где-то перед валом дождя ветер, летят в воздухе соломинки. Падают пчелы. И Тихон Чуприн схватывает ящик с инвентарем, а Женя дымарь. И вся эта работа идет в зачет торжества, потому что нет ничего подъемнее, чем спешить, глядя на пчел перед дождем. И бегут они, старый и малый, к домику вниз, а потом вверх, к ульям, в каком-то диком восторге, потому что кто же высидит в такую пору

да еще при том, чтобы не посмотреть еще раз — не оставлена ли где на крышке улья стамеска или пасечный нож, а то и коробок спичек для разжигания дыма.

Но вот ветер промчался. Улеглась пыль, осели на землю соломинки и листья. Все успокоилось. Притаилось. Наступила тишина. И в этой тишине вдруг тукнула по листе первая капля!

И вот уже ляпиной схватилась, сжалась в птичий комочек помета пыль — и тут же запахло преддождевой пылью, чего не бывает в жару. Пыль резко пахнет, когда исчезает. И вот уже огласно стукнуло увесистым звуком железо крыши пчелиного домика. Минуты две-три пошуршало, поскреблось что-то высоко в небе, и мелкой ситцей пошел дождик.

И заблестели листья деревьев. И помокрели крыши ульев. И приклеились крылышками к железу пчелы. Дрыгают лапками, задирая брюшко к небу. От радости, конечно, дрыгают. И самые смелые, на прилетной доске, заигрывают в пятнашки с мелкой капелью. И еще смелее, как ребята босиком, мечутся, пробивая толчею мороси, по точку. И уже трудно разобрать, что мельтешит в глазах: пчелы или дождь. Дождь пополам с пчелой! Пчела пополам с дождем!

— Послушай! — не удержался дядюшка Тихон, и это значит: смотри и внеми.

Густые капли плятятся на крышах ульев и сходят сизым туманцем вниз. И пчела забила глубоко в прорезь летка. И уши заложило настоящим звоном. Дождевым звоном.

— Послушай, мой мальчик! Давай сыграем в шахматы!

И они, вопреки установленной привычке, сидели за стол друг перед другом, и играли не на шутку, а всерьез, и радовались и смеялись одинаково тому, что кто-то выигрывал, кто-то проигрывал.

Дождь шпарил по крыше навеса сплошной дробью. Вода закрыла свет мутной пеленой. Капельная пыль пощипывала голые ноги. Двое в пчеловодных сетках, точно фехтовальщики, только с поднятым забралом, «сражались» в шахматы. Молния освещала их лица.

Наконец-то лето выровнялось. Пришел медоносный июль. Наступила пора главного взятка.

В природе есть какие-то особые периоды, и мы бы называли их паузами. Или остановками. Но назвать их паузами или остановками никак нельзя. Потому что, скорее, это будет действие, чем статичность.

И все же это остановки, паузы природы.

Как бы там ни бесновалась зима метелями, как бы ни била заморозками весна, как бы ни заливало дождями или ни сушило жарой лето, есть в природе особые паузы, ради которых и сидит пчела полгода безвылетно на сотах в летаргическом оцепенении. Ради которых и закладывает еще в стужу февраля первые личинки будущей семьи. Ради которых бешено копит силу в начале лета. Ради которых живет на свете!

Как-то невзначай стало и не холодно и не жарко, и не сыро и не сухо, и солнечно и облачно, и тихо и — здорово! После затяжной жары подул ветер и прошли дожди, омыв небо. И земля очистилась, и дали стали яснее и контрастнее. И мягче. И звон будто затишел. И пчелы вроде не стало. А это просто: взятки. Все в работе. Сверхалось одно из величайших таинств жизни: передача радости. А точнее — самой жизни. Превращение одного в другое. Чтоб не порвалась цепь. Цепь жизни.

Нет ничего приятнее, чем вот в такой летний взяточный день поваляться на крышку улья и смотреть пчел. Как они, падая на прилетную доску, живо заползают в леток. И мальчик пошел к длинному лежаку, повалился на теплую, солнцем прогретую крышу улья лицом к пчелам.

Пчелы писали черточками взятки, черточки были длинными, утолщенными. Темные точки брались в небо густо, били, не попадая, в очко.

Тяжек мед! И в руку взять, и сделать рукою! И крыльшками тоже. И пчела бьет в черное яблочко мишени, а попадает в молоко стенки — тяжесть пересиливает. Зайдет еще раз, примерится уже точнее и, напрягая все силы, вправит себя в норку. Сколько тех прострелов надо на тот килограмм меда, что запросто кладется на весы, что исчисляется центнерами в хозяйствах, что в общем, по стране, набирается сотнями тысяч тонн,

если за одним граммом пчеле нужно вылететь больше ста раз!

Когда в природе взятки, на пасеке можно ходить без сетки. И в трусах можешь ходить между ульями. Во время взятка пчеле не до тебя. И ты можешь разводить любые сахарные сиропы в открытую и даже выставить его на тарелке у летка. Никто твоей фальшивки не возьмет. Да что — сироп! Сот с медом порежь кусками и поставь на самом видном месте — не сядут. Потому что важнее всего взять то, что выделила природа. Любовь цветов. А что может сравниться с нею. И спешит она еще потому, что пауза может вот-вот оборваться.

И тут пришлось полностью открывать нижние — длинные — летки и поднимать крышки для вентиляции. Подкладывать щепочки между корпусами для добавочного притока воздуха. И закреплять днища. Основание. Фундамент. Когда взятки дружные и мед прибывает на пасеку весенним паводком, ульи садятся, перекашиваясь набок. Мед идет, и колышки идут, на которых стоят ульи. В землю идут. Не выдерживают. Оно и среди колышков разный «народ» бывает. Какой крепкий и держит свой угол на плече, а какой и с сердцевинной гнилью. Какой прочно стоит на ногах, а какой так себе, шатается. У какого твердая почва, а у которого рыхлая. Смотришь — перекосялся улей. Идешь поправлять.

Дядюшка Тихон взялся за улей и как-то сразу опустил его неловко. Женя еле успел подпихнуть кирпичик. Дядюшка Тихон опустил улей, сел на траву. Обмяк сразу непонятно. Рябь морщин, как на воде при порыве ветра, взялась у виска. Вместе они осторожно сошли вниз, сели на скамейку под навесом. Как прежде. Как всегда. И мальчику показалось, что ничего не случилось. Что так, как есть, будет вечно. К ним под навес заглянула пчела. Из тех, что делают первый облет. Из молодых. Что запоминают местность. Заучивают ориентиры. У пчел тоже есть пора школы, и они ее проходят добросовестно. Чтобы хорошо взять приметы и потом не блуждать за нектаром. Вейнула над столом бодрым, молодым звоном, полетела к поенке. Посмотрела, что за штуковина, вернулась назад. Увидела пасечников в сетках, уже знакомых, еще раз обследовала навес. Повторила движения. У них тоже есть пов-

торение пройденного. Вейнула опять — отлетела к ульям. Дядюшка Тихон посмотрел на такую учебу. И улыбнулся ей. И Жене стало легче.

Тихон Чуприн повернулся к мальчику:

— Пчела идет за три-четыре километра на взятке. Ну пусть за шесть-семь в пересеченной местности. Были случаи, когда она пролетала и двенадцать над водою. Это ее биологический предел. Потолок.

Он отпил воды, голос его стал чище.

— А тут в четырнадцать не вберешь до того клина гречихи! — Снял сетку — прядь волос заперлась на лбу скобой. — Они сделали невозможное. Понимаешь, природой каждому заложен предел. И ты его ни за что не перепрыгнешь...

Помолчал, потом, глядя куда-то вдаль, добавил:

— Но есть и запас этому пределу. Резерв. Он, видимо, тоже заложен природой. На всякий случай, когда сама природа уже не может ничего сделать. Человек должен взять свой предел. Сделать невозможное возможным. И выйти за него. За предел.

Жилка бьется на виске ровным учащенным пульсом, глаза смотрят в необозначенную даль. Руки, творящие звон, лежат на столе иссохшими кулачками.

— Возьми свой предел!

Ульи стоят в цветах, пчелы крылышками шатают травы. И звон над землею. Медвяный звон.

— Послушай, мой мальчик, — сказал дядюшка Тихон своим прежним голосом, хотя было видно, что говорить ему стало трудно.

Женя заметил что-то неладное. Но дядюшка Тихон тут же попытался улыбнуться.

— Послушай, — сказал дядюшка Тихон совсем прежним голосом, — ты еще не помогал отцу!

Подожгло время, когда одновременно приходилось и сено косить, и хлеб убирать, и зябь следом тянуть. В такие дни отец не приходил домой. И мальчик подумал, что действительно давно не был на жатве и не видел отца. Он представил, как появится в желтых хлебах, и как отец остановит машину, и спустится на землю, и поднимет его к солнцу, ставя на самую верхнюю ступеньку.

«Ну, намедовухался?» — спросит обязательно.

И, включив хедер, передавая штурвал там, где позволяет поле, для пробы, обязательно добавит:

«Хлебушком закуси. Без хлеба и мед не еда». Женя вспомнил отца, и ему захотелось на комбайн. — Ты всегда помогал ему.

Но мальчик хотел остаться. Ведь с дядюшкой Тихоном что-то неладно.

— Нет, нет, — сказал пасечник твердо. — Ты иди. Иди. Я сам...

29

Тихон Максимович Чуприн умер в ясный, теплый, солнечный, медоносный день, накануне откачки меда, когда соты затяжелели сплошной печаткой, а колышки под ульями двинулись в землю, когда зацвела вся земля буйным цветом и сердцу только радоваться и когда мысль о смерти кажется самой большой нелепостью.

Леночка вбежала в комнату, остановилась на пороге. Приложила сверток газет, пахнувших свежей краской, к губам. Да так и замерла.

Дядюшка Тихон открыл глаза, и посмотрел внимательно на девочку, и улыбнулся ей. И Пчелка ступила ему навстречу, не понимая, что происходит, и отняла от груди сверток, и отпрянула назад. Глаза искали не ее, а кого-то другого, и в том, что глаза искали кого-то другого и не находили, была вся жуть.

— А Женя где?.. — спросил он, и лицо его померкло.

Мальчика отослал, а ждал его. И когда с газетами залетела Леночка-Пчелка, лицо его просияло, а глаза зажглись той улыбкой, что оставляется памятью.

Он лежал все так же на спине, глядя куда-то в безмерность. Грудь его опала, руки не шевелились. Леночка выбежала — закричала всему свету. Да он уже не слышал того крика, и ему было все равно. С трудом он оторвал стопудовую, всю в старых шрамах руку от груди, занес ее над собой, подвел плечо и, преодолевая страшный недуг, медленно отвернулся к стене. От света. От жизни. От себя...

Мальчик в это время стоял высоко на штурвальном мостике. Он стоял на капитанском мостике и держал в руках штурвал. Но то был не мостик, а настоящая кабина из плоского витринного стекла и двумя венти-

ляторами под потолком, похожими своим конусом на кончики ракет. И не стоял он, а сидел в удобном кресле, поставив ноги на педали. Педали пружинисто, по-деловому подавались под ногами, руль чутко ловил его движения.

Пшеница полощется флагом, брызги зерна морским прибоем ложатся на хедер тяжелой волною. Упругая струя хлеба течет живым рукавом из бункера. И отец за спиною. А впереди пламя хлеба.

Женю захватывала высота, на которой нес его впереди себя комбайн. И мальчику порой казалось, что он сидит в боевой машине.

И все же это была самая мирная, какая вообще может быть на свете, машина. Дядюшка Тихон говорит, что воевать нужно. Даже необходимо. Да, в жизни нельзя не воевать! Но воевать надо звоном. Теперь бы Женя добавил: и хлебом.

Еще дядюшка Тихон говорит, что самый лучший почерк в небе — полет пчелы. Самый надежный звук в нем — медвяный звон. А самый необходимый дух земле — любовь цветов. Мальчик еще добавил бы. Он бы добавил, что самый лучший след на земле — след комбайна. Самый верный звон ей — стрекот кузнечика-комбайна в далеком поле. Самый необходимый дух ей — запах хлеба.

— Как там наш пчеляк?

Отец называл дядюшку Тихона «пчеляком». Но он называл его и дядюшкой Тихоном, хотя по возрасту не так уж и намного был моложе пасечника. По настроению называл.

Но Женя за грохотом мотора не услышал вопроса, и отец больше не спрашивал. Стоял сзади, за спиною. Следил зорко глазами и слушал, как идет машина.

Стоит один комбайнер за спиною другого, смотрит. Не на руки смотрит, что еще некрепко лежат на штурвале. Не на хлеба. И не на креслице или вентиляторы. На ямки смотрит. Те, что чуть заметными вмятинками возле лямок майки взялись. Мальчишеские ямки на плечах. Смотрит на чистые, ничем не задетые, не тронутые ямки, за которыми пшеничное поле, и, думая о хлебе, обилии хлеба и о меде, не может не вспомнить прошлое...

— Да, наше детство война съела. Голодом пухли на холодной печи.

Трудно было понять, слушает ли Женя. Он так же вел комбайн, смотрел, как поднимается пламя хлеба, идущего на него. Влажные лямки майки легли возле вмятинок.

— А как весна наступила, легче стало. Травка выткнулась. Почки на деревьях припухли. Майские жуки пошли...

При чем тут жуки?.. Повернул мальчик лицо и увидел на лбу родные морщины. Морщины были забиты хлебной пылью, глаза блестели по-шахтерски. Как в забое.

— Жуки?

Отец ответил не сразу:

— Ели.

Подумал немного, добавил:

— Только лапки отрывали, чтобы во рту не царапались...

Вдали, на горизонте, показался мотоцикл. Сначала появилась черная точка человека, а затем и красная — коляска. Бригадир едет.

Мотоцикл вышел на дорогу и поднял рыжий хвост пыли. Свернул на стерню, пригасил хвост. Идет прямо на комбайн. По стерне. Мало ли за чем может ехать бригадир? Газеты завезти, гектары взять для сводки. О технике справиться.

— ...Потом совсем хорошо пошло. Бегали на огородах. Где стрелка лука выбьется. Где ниточка морковки завязалась. А где и пупырышек раннего огурца под листом спрячется... Откуда теперь только силы берутся?!

И как только отец начал рассказывать про голод, про силы, те, что еще остались, Женя подумал о дядюшке Тихоне: сколько работ на пасеке во время откачки меда! Хорошо бы помочь ему отрядом. Целым отрядом. И как это он до сих пор не сообразил этого! Решил сегодня же сходить к вожатой.

Но почему так летит мотоцикл? Коляска подпрыгивает. Угол срезала, задев колосья. Руль бьет руки. Заднее колесо, приседая, рвет стерню, кидая назад комья. Обычно колесный треугольник бригадира идет накатом, и бригадир сроду не задевал поля.

Нет, это не сводка. И не газета. Это что-то такое, отчего мотор ревет на пределе, разрывая цилиндры. Отчего тормоза визжат при остановке заклиненными

колодками. Отчего у самого отнимаются руки... Женя уловил ту необычную скорость и даже не ту посадку бригадира, приостановил комбайн.

На свете есть много средств связи, которые поражают человеческое воображение. И трудно представить, какие средства связи могут быть в будущем. До чего может дойти техника. Но ни одно из этих средств связи по чуткости и отзывчивости, по сердечности и искренности не сравнится с выработанной человеческим общением на протяжении веков, что передается одним другому.

Мальчик соскочил со ступеньки — побежал прочь, не зная куда. Не туда, где что-то случилось, а в противоположную сторону.

...Он лежал лицом вниз, слеза туманила свет.

Что это? Зачем? И кто все это придумал?..

Частое дыхание разрывает грудь. А двинуться не может. Поднял с трудом голову — трава посекла мечами ближние лесины, цветы размытыми пятнами. И земля меж стеблей в черных глыбах крошки. Та самая, что жизнь дает. Что берет ее!

Потом он лежал лицом вверх. Мокрые у глаз дорожки холодили кожу. Плыли облака. Он как-то совсем забыл, что есть облака! Что есть он сам. Есть мать, отец. Есть целый белый свет. Весь этот свет сошелся у него в одно черной точкой. И он посмотрел на облака, и глаза его прояснели.

Он смотрел в небо. Сосны, что стояли вокруг, валялись на него мачтами и валялись, и падению тому не было конца, и было страшное желание подхватиться и бежать, чтобы не придавило...

Да это же вращение Земли! Значит, она не остановилась!

И он впервые понял, что остается на земле. И для чего остается. И сам себе удивился: как не знал этого раньше?

Приподнялся на руках, уперев ладони сзади. Осмотрелся вокруг.

Красные маки в черной оторочке на лепестках. Последние вздохи солнца. И пчела в путанице трав шатает цветы. Работает. И та маленькая кроха отозвалась болью в сердце: она летает и садится на цветы, не зная, что случилось. Руки ослабели, и все вокруг опять померкло...

Земля вся в цвету, разлеглась бескрайне во все стороны; синее небо в белых мазках облаков. И музыка непонятная. Зачем она такая?

Каждая кочка выделяется под ногами. Каждая травинка высечена ясно, а попробуй — переступи. Ноги непослушные, точно вяжет их кто тяжелыми путами, гребут, поднимая пыль.

И сплошные ноги перед глазами, шевелятся, чуть передвигаясь. Никогда дядюшка Тихон своею жизнью не собирал столько людей.

Жене давали нести венок. Вожатая Валя выстроила пионеров и робко подозвала его. Но он не мог стать впереди и нести венок. Не мог Женя нести и медали, хотя ему хотелось, очень хотелось подержать медали в руках. Разве знала она, непонятливая Валя, разве могла понять, что он не мог в такой день делать то, что обычно делают.

С войны дядюшка Тихон вернулся без наград. И они шли ему после войны, юбилейные, и вручали их прямо на пасеке, при Жене. За прошлое. За бои. А в сущности — за настоящее. Ведь в войну награды давали не за войну, а за то, чтоб мир был. За звон. Медвяный звон. И дядюшка Тихон получал их по праву.

Несут венки и подушечки с медалями, несут на плечах, над землею, шрам. Чтоб в землю положить... Будто спрятать.

О шрамах почему-то не говорят, их не показывают. У шрамов паучьи повадки, они темень любят, не свет и солнце, как ордена... Сколько их, поди, по земле, и здесь, в толпе, под рубашками, и по всему свету... И все же не так уж и много их осталось... И с каждым днем меньше... Война до сих пор сеет...

Знамя колышется где-то впереди. Медный блеск труб дробит тысячекратно солнце. Черная толпа, сбитая в гурт. И позади всех, за квелими старушками в длинных юбках, брел, медленно передвигая лапы, опустив голову, Байкал.

— Мы сегодня провожаем в последний путь Тихона Максимовича Чуприна. Не пчеловода и не сеятеля, а — бойца. Солдата. Героя. Хотя отмечен Тихон Максимович не правительственным указом, а указом

нашего сердца. Война и после войны отмеряла кому десять, кому двадцать, кому тридцать лет, а кому и того не отмеряла, и мы до сих пор несем потери.

Николай Федорович говорил тихо. А его было слышно далеко, до последнего ряда. И говорил он будто в пустоту — такая стояла тишина.

— Сколько лет прошло, а она берет. До сих пор берет! Дань берет. Страшную ценою...

Одна рука, не замечая, совсем смяла шляпу, другая помогала голосу.

— Война убивает и после войны. И мы до сих пор кладем солдат в землю. В прошлом году Ивана Платова, — председатель назвал фамилию из соседнего села. — Весною Сергея Филипповича Федотова...

Почему-то вспомнилось, что Сергей Филиппович всю жизнь, и зимой и летом, проходил в валенках, ботинки ему надели только в последний путь. Ноги его были точно мыло: вдавишь пальцем — вмятина останется.

— ...нынче Тихона... Пчела помогала ему. Из-за нее, пчелы, он так долго держался... — И когда было названо его имя, в рядах всхлипнули старушки. Близких родственников у дядюшки Тихона не было. Ему все были родные — тем тяжелее становились похороны. — В его возрасте человек только набирает силу. Рукою, головой. Война знает, кого брать. Ей отдай лучшее. А так бы ему износу не было. По сути, пол-человека было. А что сумел!

Николай Федорович хорошо говорил о дядюшке Тихоне. Так, как никогда не говорил при жизни. В его голосе звучала боль. Жене хотелось, чтоб дядюшка Тихон слышал это.

Но дядюшка Тихон всего этого не слышал. И мальчик подумал, что слышать такое в глаза было бы дядюшке Тихону не совсем приятно.

Странно: в жизни могут говорить о человеке что угодно. За глаза, конечно. В жизни редко говорят открыто — смелости не хватает, чаще говорят «за глаза». А после смерти, хотя это тоже «за глаза», услышишь только хорошее. Мы еще не можем сложить человеку цену жизнью, мы складываем ему цену смертью...

Председатель встретился с глазами Жени и остановил на нем тяжелый взгляд. Мальчик потупился.

Не выдержал того взгляда. А понял, что Николай Федорович говорит ему. Как же он может говорить дядюшке Тихону! Ему говорит. И всем, кто стоит рядом. Мертвым не говорят, хотя и обращаются к ним.

— Наше поколение счастливее. Мы не знаем войны! Но мы не знаем и отцов! И тем хорошо, очень хорошо знаем ее!

То же мог сказать и Женин отец, дедушка ведь тоже погиб на войне.

— Человек бессмертен лишь в том смысле, насколько долго после него будет жить его дело. Уходя от нас, Тихон Чуприн хотел оставить землю озвученной добром. И он трудился, не покладая рук, отдав все силы. И оставил ее нам украшенной звоном.

Как больно. И почему так больно, если вокруг земля и жизнь? Почему сердце бьется тяжело и в горле печет? И где-то глубже — в груди. Будто рана какая. Будто ее принял себе нести всю жизнь живою памятью... Никогда так не было больно.

— Его дело — медвяный звон. Звон — вечен! И память вечная ему!

Руки покойно сложены, те самые, что бережно держали сотовую страницу. И цветы. Сплошные цветы. В жизни ему никто не дарил цветов, может, не было случая. Он их сам дарил всему свету семенами доброго посева, и теперь весь свет вернул их ему. И здесь стоило остановиться и поразмыслить не только мальчику: у людей бывает почесть смерти больше, чем жизни. А может, это за жизнь! За всю разом! Так это ж уже не ему...

И в перерывах между оркестром, в перерывах между речами, между рыданием гудели пчелы. Шла работа. Была жизнь. И не было лучшей музыки покойному, не было лучшей музыки жизни мальчику, не было им лучших слов и речей, чем звон, стоящий над землею, медвяный звон!

31

Женя вышел на порог. Был май, гудели пчелы. Школа утопала в цветах. Бегали между клумбами дети. Малиновый звон стоял над землею. Мальчик брел из школы домой. На завтра назначен необычный сбор.

Если бы кто услышал о таком сборе, то сказал, что

в нашей школе все сумасшедшие вместе с пионервожатой. Такой сбор может действительно показаться нелепостью. И может, только Валя способна на это. А между тем в нашей школе не удивляются Вале. Проводим же мы сбор у братской могилы? А почему нельзя у могилы солдата? И мальчик свернул на окраину деревни, к обелиску с красной звездочкой.

Он задержался у холмика бабушки, замедлил шаг у могилы Сергея Филипповича. Прошел дальше, вглубь, к пустырю, к свободному месту, где возвышался свежий еще холмик. Постоял у звездочки, склоня голову, держа тяжелый портфель, протер фотографию. Из ободка на него посмотрели улыбчивые глаза. Дядюшка Тихон не любил сниматься, и пришлось вырезать портрет из газеты.

И начался у них обычный разговор, как бывало на пасеке, в тени под навесом, за столом с шахматной доской и транзистором, газетами и письмами. Дядюшка Тихон, чуть склоня голову, сложив кулачки рук на столе; Женя, подтянув ноги к подбородку, взяв их замками пальцев ниже колен. Они мало говорили при жизни. Мальчику почему-то казалось, будто им так и не пришлось как следует выговориться. Это всегда так бывает, когда человека не станет: что-то остается недосказанным, что-то недоделанным... И мальчик теперь спешил рассказать, мысленно рассказать, чему рад и чем опечален, и не знал, с чего начать.

И тут ему показалось, будто в небе что-то загудело. Поднял голову, увидел облака, идущие грядой, услышал звон. И мысли его разобрались в ряд, и в голове прояснилось, и все пошло, как и должно идти.

Он вспомнил, как пришел медоносный июль и они выставили всю, что была в запасе, посуду — сушь и вошину. Как полностью отодвинули заслонки на летках. И как пошли пчелы. Прошлого лета меда было немного. Не медным оказался год. Год на год не приходится, как сам говорил дядюшка Тихон. Но взяток был, и даже колышки пошли в землю, и никто их, как угрожал председатель, не «перекрыл», и на пасеку снова приезжали медики из областной медолечебницы за своим главным лекарством, за медом дядюшки Тихона.

И по земле снова пошла молва о каких-то особых секретах теперь уже не только старого пасечника, а и других, совсем молодых его заместителей.

Когда в природе взяток, медогонку можно устанавливать прямо на воздухе. В тени. Под любым деревом. Подложил бревнушки, вырыл ямку для ведра против заслонки. Качай, пожалуйста. Но механизаторы из мастерских сварили для дядюшки Тихона хорошую станину из прута. Так что бревнушки не понадобились. И ямка не нужна. Вынесли станину, затем гуртом — чуть ли не всем отрядом — взяли медогонку. Облепили муравьями. И как вынесли на солнце — она заслепила глаза вспышкой свежего дюралья. Занесли в тень — и она успокоилась.

«А теперь — баню!» — скомандовал учитель.

«Как?» — опешили ученики.

«Вот так: общение с природой — праздник!»

Вымылись под душем, надели чистые халаты, стали по местам: кто отбирать соты, кто таскать рамконоши, кто вертеть ручку медогонки. Началось торжество меда.

Пчелы гудели в небе, дети гудели на земле. Если б все это видел дядюшка Тихон!

Мы привыкли к тому, что на пасеке копошится одна, от силы — две фигуры. А тут — весь отряд! И все это нарушало обычное представление о пасеке, хотя ученики и соблюдали главное пчеловодное правило: вести себя здесь спокойно и не шуметь. Ходят в синих халатах и скафандрах, и со стороны не сразу смекнешь, что под сетками не старички, не борода какая-нибудь окажется, а совсем юное лицо, если поднять забрало.

В сетках особой надобности не было. Это Анатолий Егорович велел надеть на всякий случай. А вдруг где осечка выйдет. Многие ведь в первый раз на пасеке.

Пасечной стамеской Женя сдвинул приклеенную прополисом рамку, осторожно вынул из улья, поднес на уровень глаз для чтения. А сам голову отстраняет, чтобы и другой мог в ту страницу заглянуть. Подальше отстраняет, будто у него уже дальность зрения образовалась. Потом бережно стряхнул пчел, смел их гусиным крылом. Передал рамку Виктору. И тот чуть не уронил ее от неожиданной тяжести. Перехватил крепче — вправил в рамконошу.

Возле улья работали они вдвоем, как, бывало, Женя с дядюшкой Тихоном, и никакой такой суеты между ними не было, а, наоборот, наблюдалась полная

слаженность. Витька хорошо подхватывал рамки, аккуратно вправлял их в ящик. Отобрали восемь штук — по четыре в каждую рамконошу, спустились вниз, к медогонке. И хотя Женя, теперь самый опытный пасечник среди всех ребят, стоял на главном пункте по отбору медовых рам и ему вовсе не было необходимости спускаться к медогонке — рамконоши таскали старшие, он все же не выдержал, чтобы не крутнуть ручку, услышать медовый дождь.

Под навесом, на столе, где раньше лежала шахматная доска и газеты, стояла теперь кастрюля с горячей водой. Вместе с вожатой Валей девочки распечатавали соты. Женя взял удобный обоюдоострый, похожий на кельмочку каменщика, только поуже и длиннее нож, окунул в кипяток. Подержал немного, потом провел, как серпом, по соту. Пластинка воска снялась у него чистой, без капель меда. И матово-прозрачной. По сотам скатилось несколько слезинок освобожденного меда. Передал нож Леночке, с теплом передал, что на ручке осталось, вставил рамку в сеточную кассету и крутнул ручку. Крутнул ручку — в лицо веянуло густым запахом зрелого меда. И у ребят поначалу кружилась голова, то ли от вращения кассет медогонки, то ли от медового хмеля. И от радости, конечно.

Шумит дождь. Ливнем шумит медовый дождь в дюралевые стенки медогонки. От центробежной силы шумит, вылетая тяжелыми градинами капель из ячеек. Настоящий дождь! Медовый дождь!

Мед тек из отверстия заслонки вязкой лентой. Лента упиралась в дно фляги. Шелестела живыми брыжами. Брыжи быстро собирались в пирамидку. Пирамидка живо оседала, растекаясь блином по дну фляги.

В тени, под яблоней, стояли дюралевыми ракетами фляги. Они были начисто вымыты и даже прокалены на солнце. Как это делал дядюшка Тихон. Каждая из них ожидала своей медовой ленты. Было чертовское желание подставить под ту ленту рот. Или хотя бы палец. Но когда им налили густого, янтарно-солнечного целебника в тарелку, никто, считай, не взялся. Надышались, видно. Одним дыханием были сыты.

Есть у пчеловодов одна святая заповедь: первую откачку — детям. И здесь первую флягу отвезли в ясли и налили из фляги в тарелки — опять же вязкой

янтарной лентой с брыжами и оседающей пирамидкой. Тарелки сразу облепили малыши. Заработали ломтями хлеба. И локтями. И кое у кого текло по подбородку, капая на живот. И кое-кто норовил слизнуть упавшие капли, чтоб не было потерь. И кое-кто просто-напросто начал ко всему приклеиваться.

Рассказал Женя и о том, что на пасеке теперь Анатолий Егорович и что ученики до сих пор никак не могут свыкнуться с тем, что он теперь не учитель, а пасека — не школа.

По состоянию здоровья врачи запретили Анатолию Егоровичу учительствовать. И он оставил работу. Перенес на пасеку свои книги по истории, добавил к тем, что по философии. Теперь Анатолий Егорович говорит, что пасека для него — это школа, ульи — классы. Соты — парты, пчелы — дети.

Упомянул Женя и о том, что чудачка Валя собирается провести сбор прямо на пасеке. У костра.

Все рассказал Женя, умолчал лишь про фотоаппарат. Тот, что ему подарило правление. Самый лучший в мире, с полным набором реактивов для цветной съемки. Правда, такой аппарат с принадлежностями мог ему купить и отец. Но то был бы уже не тот аппарат. И не те принадлежности. Его нельзя было носить на груди, как награду. Как медаль. Или даже орден. И он бы, тот аппарат, купленный, был бы уже вещью. А все купленное, как известно, имеет цену. Это только дареная вещь — бесценна.

Чуть не забыл! О Пузырике не рассказал.

Пузырик живет. Дышит. Такой же. Волосы одеколоном сбрызгивает. Только сапоги в гармошку сбросил. Туфли лаковые завел. И сахар теперь из магазина для медового поддела не на горбу таскает, а возит на машине. Машина стоит за высоким, с ножами, забором. По деревне, вдоль и поперек да и далеко за околицами, легли по грунтовым дорогам змеистые, в монетной чешуе следы новых шин. И эрзац-мед он возит теперь в город на рынок. Откроет заднюю дверь своего пятидверка, точно люк десантного корабля, куда по трапу загоняют бронетранспортеры, завалит флягами. Точно такими, как в колхозе, блестящими на солнце дюралем. Завалит трюм ракетами фляг, хлопнет дверцу. Заведет мотор, отчеканит монетками след туда и обратно.

«Диалектика», — сказал бы ты, дядюшка Тихон.

Пчела — индикатор состояния природы — прилетела на могилу, села передохнуть, сложив прозрачные крылышки.

Звон стоит над землею. Вечный звон!

Мал миг, а поговорили. Главное сказали друг другу:

«Бережешь?»

«Берегу».

«Вечно береги!»

«Когда-то ты говорил, будто чем сильнее медвяный звон, тем слабее звон оружия. И я не понимал этого прежде, а теперь знаю, как его, звон, надо беречь».

И опять посмотрели друг другу в глаза. Одни глаза сказали другим:

«Возьми свой предел».

Взять предел — теперь мальчик хорошо знает — это сделать невозможное. Сделать невозможное возможным.

Тот год, как теперь понял Женя, был для старого солдата пределом возможного. А может, его предел был раньше, намного раньше, в те памятные годы, когда он придавил танком дзот? А если у него было два предела? Тогда и теперь? И тот, и этот? И звон, и во имя звона? Может быть такое?

Пчела подала сигнал крылышками, снялась с могилы. Снялась звуковой золотинкой, начала облетать ранний пушок зелени. Проверила, все ли на месте, все ли так, как должно быть. Услышал пчелу — эту маленькую кроху беспредельного мира, — потянулся к портфелю.

Расстегнул портфель — вынул пакетик. Обыкновенный аптекарский пакетик из тетрадной бумаги в клеточку, что тысячами готовят они на уроках труда и в кружке. Пакетик зашелестел сухими маковками семян. Сколько их — белых вестников доброго посева — разлетелось во все концы по свету из его рук, и сколько других, неведомых, но дружественных рук потянулось к нему отовсюду за звоном!

Открыл пакетик, взял щепотку семян. Поднес на ладони к солнцу, бросил в землю.

Не семена бросил Человек в землю — Добро, чтобы оно взошло над Землею Медвяным Звоном.

К читателям

Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

Литературно-художественное издание

для СРЕДНЕГО и СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Шаповалов Владислав Мефодьевич

МЕДВЯНЫЙ ЗВОН

09.08.88г.

Ответственный редактор

Н. С. Аракина

Художественный редактор

Г. Ф. Ордынский

Технический редактор

Т. Д. Юрханова

Корректоры

Л. А. Лазарева, И. В. Козлова

ИБ № 8636

Сдано в набор 11.01.88. Подписано к печати 07.05.88. Формат 84×108¹/₃₂. Бум. кн.-журн. № 2. Шрифт таймс. Печать аэсож. Усл. печ. л. 6,72. Усл. кр.-отт. 7,14. Уч.-изд. л. 7,1. Тираж 100 000 экз. Заказ № 7787. Цена 55 к.

Ордена Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Росглаволиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сушеский вал, 49.

Отпечатано с фотополномерных форм «Целлофот».







